

«Мир – грязная сука, он любит побои
и отдается тому, кто сильнее».

Р **ГО** **ДА** **РИ** **Е** **И** Н



п о ж и р а т е л и з в е з д

Американская комедия

Ромен Гари
Пожиратели звезд

«ЭКСМО»

1966

УДК 821.111-31
ББК 84(4Фра)-44

Гари Р.

Пожиратели звезд / Р. Гари — «Эксмо», 1966 — (Американская комедия)

ISBN 978-5-04-100063-9

Латиноамериканский диктатор старается сделать все, чтобы продать свою душу. Он совершает самые страшные преступления, чтобы Дьявол его заметил. Кровожадный и свирепый, он боится только одного — искренней, самозабвенной любви женщины, которая хочет спасти возлюбленного и замолить его грехи. Он не может убить ее — она точно попадет на небеса и выторгует ему спасение, и тогда Дьявол отвернется от него? Да и можно ли действительно продать душу и где найти на нее покупателя? «Пожиратели звезд» — первая часть американской дилогии Ромена Гари. Своего рода латиноамериканская версия истории Фауста.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-100063-9

© Гари Р., 1966
© Эксмо, 1966

Содержание

Новый рубеж	6
Глава I	6
Глава II	15
Глава III	19
Глава IV	21
Глава V	26
Глава VI	37
Глава VII	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Ромен Гари

Пожиратели звезд

Посвящается Саше Кардосысоефф

Новый рубеж

Глава I

Полет отличался приятной обыденностью. Доктор Хорват впервые отважился воспользоваться не американской авиакомпанией и теперь был вынужден признать, что эти парни, стоит им только слегка помочь, быстро усваивают урок. При вылете из Майами вид пилота, которого легче было представить себе на вершине какой-нибудь ацтекской пирамиды, чем за штурвалом боинга, внушил ему некоторые опасения, но они быстро рассеялись после нескольких мягких посадок, гамбургеров и лимонного пирога на обед, а также благодаря изысканной вежливости командира экипажа, который на весьма приличном английском то и дело обращался к пассажирам, чтобы сообщить им название то этого вулкана, то того города, и вообще держал их в курсе происходящего.

Была одна непредвиденная посадка на военном аэродроме в южной части полуострова Сапоцлан¹, где на борт самолета поднялась странного вида дама, маленькая, приземистая, с плечами как у борца, которой почтительно помогал офицер в мундире, представлявшем собой точную копию формы американских военно-воздушных сил. Дама походила на индейского идола, обмотанного красной и зеленой парчой и разноцветными лентами, и словно только что явилась с какого-то фольклорного праздника; на голове у нее красовалась серая фетровая шляпа-котелок, из тех, которыми доктор Хорват уже любовался в туристских буклетах. Ее лицо цвета обожженной глины в обрамлении черных гагатовых волос, заплетенных в аккуратные косицы, застыло без всякого выражения, что было очень похоже на тупость. В руках она держала элегантную кожаную сумку и не переставая жевала. Стюардесса почтительным шепотом сообщила, что сеньора – мать генерала Альмайо и что сейчас она, как и каждый год, направляется в столицу навестить сына. Проповедник знал, что авиакомпания является собственностью Альмайо, и воспринял эту неожиданную остановку вполне благосклонно.

Он сидел рядом со смуглым молодым человеком, одетым в элегантный синий шелковый костюм с подбитыми ватой плечами, который беспрестанно улыбался ему, демонстрируя золотые зубы. Он едва мог связать два слова по-английски, и проповедник решил испытать на нем свой испанский язык, находившийся в зачаточном состоянии. Молодой человек, похоже, был артистом, гражданином Кубы, и направлялся в столицу, куда его пригласили работать. Когда доктор Хорват попытался выяснить, в какой же благородной отрасли искусств молодой человек проявлял свои таланты, его сосед вроде бы смутился, произнес по-английски что-то похожее – странное дело – на «супермен», на что проповедник, ни на йоту не продвинувшийся в своих изысканиях, лишь одобрительно кивнул и дружески улыбнулся, получив тут же в ответ ослепительное золотое сияние между пухлых губ.

Это была первая поездка проповедника в страну, куда он ехал в качестве личного гостя президента, которого там называли «лидер мáксимо»². В свои тридцать два года доктор Хорват был весьма выдающейся фигурой в церковных кругах, и слава о нем как о неутомимом и вдохновенном борце с врагами Господа распространилась далеко за пределами Соединенных Штатов Америки. Своей популярностью, влиянием, которое он оказывал на толпу, умением обращать заблудшие души в истинную веру он был обязан прежде всего силе собственной веры,

¹ Действие романа происходит в вымышленной латиноамериканской стране, поэтому в нем встречается много вымышленных названий – географических и этнографических, названий божеств, некоторых растений, которые употребляются наряду с реальными. (*Здесь и далее – примеч. пер.*)

² *Исп.: líder máximo* – верховный вождь.

а также (он знал это и не стыдился этого) некоему личному магнетизму и внешности, сильно отличавшейся от того, что мы обычно видим на церковной кафедре, и стоившей ему, конечно же вопреки его воле, прозвища «белокурый архангел». Его иногда упрекали в showmanship³, любви к зрелищности и в том, что называли его непрерывным стремлением к драматическим эффектам: ему случалось проповедовать, стоя посреди боксерского ринга, что должно было символизировать его битву с Сатаной. Он не придавал большого значения этой критике: во все времена и во всех Церквях поражение воображения признавалось вполне законным методом воздействия, о чем свидетельствовала блиц-поездка папы Павла VI в Организацию Объединенных Наций в качестве «пилигрима мира». Он не видел никаких причин оставлять первенство в этом деле за католиками. Бывший чемпион университета по регби, дважды входивший в состав виртуальной «всеамериканской команды», он проявлял в своем миссионерском крестовом походе ту же энергию, ту же волю к победе и ту же боевитость, которые сделали его в свое время одним из самых агрессивных форвардов Соединенных Штатов. В конце каждого собрания, когда он застывал, еще трепеща от возбуждения в пришедшей на смену овациям тишине, с широко раскинутыми, словно крылья, руками над мраком зала, от которого его отделял свет прожекторов, из толпы выбегали мужчины и женщины и, преклонив колена, клялись беззаветно и самоотверженно служить Истине Божией. В своей непрекращающейся борьбе со злом он мог сказать, что тоже стал «лидером максимо».

В прессе имя доктора Хорвата упоминалось чаще, чем имена самых известных кинозвезд. В комментариях, которые он внимательно прочитывал, чтобы быть в курсе реакции противника и его слуг, не было недостатка в сарказме, желчи и ядовитых насмешках. Проповедник принимал поношения с полным равнодушием: сам Господь не был защищен от поруганий. Единственное, что имело для него значение, это результат. Не далее чем за месяц до описываемых событий, проповедуя на нью-йоркском стадионе «Поло-Граундз», он пережил настоящий триумф: народу там собралось больше, чем во время матча Паттерсон – Кассиус Клей, а сборы превысили все, что было зарегистрировано за всю историю стадиона. Он становился самым кассовым шоуменом страны.

Доктор Хорват ежегодно приносил своей церкви около миллиона долларов, свободных от налогов: все эти деньги шли на благотворительность. Сам же он получал лишь обычное положенное пастырю жалованье. Вот уже два года как одно крупное рекламное агентство следило за тем, чтобы его имя было столь же привычно для публики, как хлеб насущный. И то верно: разве Истина не является продуктом первой необходимости? И стоит ли стесняться применять для ее распространения новейшие методики? Конечно, нехорошо сравнивать завоевание душ с завоеванием рынков сбыта, однако было бы неправильно, если бы в мире, где действуют законы жестокой конкуренции, Господь не воспользовался бы советами опытных специалистов по манипулированию массами. Оставить Его один на один с врагами, да еще и связанного по рукам и ногам устаревшими условностями и предрассудками, – об этом не могло быть и речи. Нельзя, чтобы Истину постигла участь тех семейных предприятий, что прозябают и всячески хиреют из-за нежелания или неспособности приспособиться к обстоятельствам.

Бывало, в телестудии, пока его гримировали и причесывали, он немного жалел, что не принадлежит к католической церкви: его темно-синий костюм и скромный галстук ассоциировались у него с актерами, репетирующими Шекспира в повседневной одежде. Он завидовал чикагскому епископу Шину, выступавшему на телеэкране во всем великолепии одежд, созданных Римской церковью: с появлением цветного телевидения католики стали выглядеть еще эффектнее. Сам он цветное телевидение не жаловал: черно-белое драматичнее и больше подходит для борьбы между Добром и Злом.

³ Здесь: шоуменство, умение привлечь внимание, произвести эффект (англ.).

Заранее обдумывая свои эффекты, заботясь о должной постановке того, что недоброжелатели цинично называли его «номерами», он не испытывал ни малейшей неловкости: надо уметь привлечь на свою сторону все преимущества, чтобы оторвать людей от отравленных разворотом и насилием программ, которые подсовывает им его противник. Вот уже два года, как его популярность только росла, а самые могущественные коммерческие фирмы соперничали между собой за право финансировать его еженедельный «Час с Господом Богом». Он выражал свою благодарность горячей молитвой, которую возносил совместно с женой и семейными детьми. Каждую неделю он просматривал «Бюллетень Нильсена», где публиковались рейтинги различных программ: он неизменно держался почти на самом верху и не мог не трепетать от гордости при мысли, что благодаря ему Господь Бог занимает по результатам опросов одно из пяти первых мест, сразу после «Деревенщины из Беверли-Хиллз», «Неприкасаемых» и «Крайслер Комеди-шоу». Каждый раз, когда намечалось малейшее снижение рейтинга, он на несколько часов уединялся в храме для духовного созерцания, чтобы восстановить личную связь с Тем, Кто лучше любого эксперта с Мэдисон-авеню разбирается в человеческой душе и знает, чем ее тронуть. И пусть его упрекали в «дурновкусии», в «духовном донжуанстве» и в слабости, которую он испытывал к «широкоэкранному, цветному кинематографу со стереозвуком», – все это нимало не трогало доктора Хорвата: в этих злобных выкриках он слышал обиженный голос своего великого конкурента, того самого, кто старался всячески усыпить бдительность смертных, чтобы утвердить над ними власть тьмы.

Ибо упоминание Сатаны было для проповедника не каким-то там стилистическим приемом или фигурой речи, а самой живой реальностью: Зло – это ведь не «что-то», а именно «кто-то», некая неуспешная активная сила, всегда готовая к действию, которую невозможно заставить врасплох. Он видел, как этот «кто-то» вмешивается во все людские предприятия, организуя их, действуя одновременно на Кубе и во Вьетнаме, прячась под капюшонами кукуклуксклановцев и ведя антиамериканскую пропаганду в странах третьего мира. О, это был прекрасный менеджер, прекрасный управляющий – в прямом смысле слова, и преподобный Хорват не видел ничего предосудительного и недостойного в том, чтобы и самому взять на себя роль менеджера, встав на защиту интересов Господа Бога.

Так что оскорбления со свистом пролетали мимо его ушей, не достигая цели; обычно он размышлял над этим, скрестив руки на груди, и именно этим был занят сейчас в самолете, пролетавшем над вулканами Центральной Америки, просматривая холодным взглядом последние газетные публикации, которые были у него с собой в портфеле. «Преподобный Хорват вводит в религиозную среду рекламные методы „Кока-Колы“; очевидно, он питает тайную надежду разлить Господа Бога по бутылкам и наводнить этой панацеей рынки слаборазвитых стран», – писала одна, так сказать, «прогрессивная» газета. «У доктора Хорвата есть несомненный драматический, театральный дар, да и убежденности ему не занимать; только вот интересно, как используемые им методы сочетаются с его саном, а также не содержится ли в его выступлениях изрядной доли гордыни и себялюбия»: таков был комментарий из одного доминиканского «передового» журнала. Недовольство католиков легко объяснялось количеством обращений, следовавших за каждым его выступлением. Конечно, иногда им овладевало некое артистическое опьянение, может даже, он испытывал чувство собственного могущества и мастерства, когда воспарял, раскинув руки, над толпой верующих, или когда вслед за последней фразой, последним взмахом рук из темного зала, от которого он был отрезан заливающим сцену светом, на него обрушивался шквал испуганных возгласов. Однако он никогда не забывал, что его рвение угодно Господу. Гордость, опьянение, чувство собственного совершенства, которые он испытывал временами и которые некоторые называли «тщеславием», говорили лишь о том, что он такой же человек, как и другие, и подвержен тем же искушениям; и он никогда не позволил бы себе забыть об этом, даже если бы в один прекрасный день ему довелось стать президентом Соединенных Штатов Америки.

Мысль побороться за мандат главы американской нации никогда не приходила ему в голову, однако Господу Богу явно пора было занять наконец этот ключевой пост.

Он рассеянно пробежал глазами последние публикации. «Достойная восхищения вера, желание спасти мир, никого не оставляющее равнодушным...» «Позы и мимика, которым поза-видовала бы сама Грета Гарбо... Увы, кино, которое демонстрирует доктор Хорват, далеко не немое...» Это было напечатано в каком-то жалком листке с ничтожным тиражом, а следовательно, не имело никакого значения. Большая часть критики в конечном счете затрагивала его внешность: «Своими длинными белокурыми волосами и лицом героя без страха и упрека Преподобный Хорват напоминает мастеров американской борьбы – всех этих „Белых Ангелов“, которые в ходе заранее поставленного поединка устраивают на ринге разгром предателю Черному Биллу». Однако доктор Хорват не собирался отдаваться в руки пластическому хирургу, чтобы тот исправил его черты, производившие слишком приятное, слишком сильное впечатление на женскую половину его публики; если его изящный профиль будет полезен в его борьбе с князем тьмы, он не преминет воспользоваться этим преимуществом. Он засунул вырезки обратно в портфель и попытался забыть о них.

Проповедник впервые ехал в эту страну, но он знал, что там очень нуждаются в его помощи. Столица ее имела самую зловещую славу за всю греховную историю Западного полушария. Этот глухой угол Центральной Америки, отсталый как в экономическом, так и в нравственном отношении, был позором всего континента. Там открыто процветала наркоторговля. Домов терпимости на главной улице было столько же, сколько игорных салонов; и в довершение всех этих ужасов в кинотеатрах публично демонстрировались фильмы такого гнусного содержания, что при одной мысли об этой мерзости у преподобного Хорвата сжимались кулаки, а его накачанные мускулы напрягались от нетерпения и едва сдерживаемого бешенства, будто у чемпиона, который жаждет выскочить поскорее на ринг и броситься в бой.

Решимость, с которой он принял сделанное ему официальное приглашение, шокировала некоторые умы. Многие считали, что он не должен почитать своим присутствием режим, известный своей коррумпированностью, беззаконием и жестокостью. Однако доктор Хорват находил этот довод малоубедительным. Отказываться от борьбы под тем предлогом, что противник бесчестен, означало потакать низости. Его гораздо больше заботил вопрос языка, но должны же там хоть немного говорить по-английски, хотя бы благодаря туристам, которые ехали в эту страну не ради руин майя или следов конкистадоров, а совсем за другими вещами.

В очередной раз он избрал темой выступлений дьявола – его реальное, физическое присутствие среди нас. Враг человеческий крайне ловко заставляет людей сомневаться в своем существовании и весьма преуспел в этом. Несколькими словами, с силой убеждения, от которой его слушательницы иногда впадали в истерику, преподобный Хорват умел обезвредить того, кого люди перестали узнавать, настолько они привыкли к его постоянному присутствию в своей жизни. Вот уже десять лет молодой проповедник направлял всю энергию и весь талант на то, чтобы вернуть Сатану на его исконное место, с которого согнал его безбожный скептицизм – место первейшего врага всего человечества.

Реакции на эту кампанию очень обнадеживали. Со всех сторон поступали финансовые предложения, заставляя круги, близкие к «Моральному перевооружению»⁴, зеленеть от зависти. После, возможно, самого большого его триумфа в Лас-Вегасе, где поразительный реализм, с которым он говорил о Сатане, привел публику в исступление, пришлось даже прибегнуть к помощи пожарных, чтобы очистить зал. Люди бросались друг другу в объятия, целовались, поздравляли друг друга, рыдали от восторга и обуревавших их эмоций. На следующий день один местный журналист, настроенный крайне недоброжелательно, написал смехотворную ста-

⁴ «Моральное перевооружение» (англ. *Moral Rearmament*) – название международной религиозной организации, основанной в 1938 году американским религиозным проповедником *Фрэнком Бухманом* (1878–1961).

тью, где заявлял, что князь тьмы должен был бы присудить преподобному Хорвату специальную награду: «Добрый пастырь с восхитительным талантом возвращает человечеству надежду, которую, казалось, оно давным-давно утратило, – надежду продать наконец свою душу дьяволу». В ответ на это жалкое, бесстыжее твяканье из подворотни, на этот скрежет зубовный проповедник лишь пожал плечами. Однако он несколько смутился, получив круглую сумму «на благие деяния» от некоего агентства, которое представляло в Соединенных Штатах генерала Альмайю и занималось, в частности, его связями с общественностью.

Диктатор подвергался постоянным нападкам в американской прессе; его считали кровавым тираном, достойным конкурентом Трухильо⁵; и хотя слухи эти распространялись главным образом политическими беженцами, избалованными в свою очередь в преступлениях, совершенных в то время, когда они сами находились у власти, проповеднику неприятно было принимать эти деньги. Он даже проконсультировался потихоньку в Государственном Департаменте, где ему сказали, что представители Альмайю в ООН и в Союзе американских государств всегда поддерживают позицию Вашингтона и обеспечивают ему большинство голосов во время самых важных голосований, как, например, в момент ввода войск в Доминиканскую Республику. Впрочем, считать кого-либо, пусть даже диктатора, человеком, совершенно потерянным для Господа и не имеющим ни малейшей надежды на искупление, было бы недостойно христианина. Доктор Хорват передал чек своей Церкви. В любом случае, этот неожиданный инцидент, как и последовавшее за ним приглашение, доказывали, что отголоски его речей проникли туда, где в них больше всего нуждались, пробудив в сердце этого человека, безусловно, ужасного, но происходившего из глубоко верующих слоев индейского населения, какое-то смутное волнение, а может быть, даже угрызения совести. И доктор Хорват приглашение принял.

В аэропорту его встретили без всяких формальностей и сразу проводили к предоставленному в его распоряжение «кадиллаку». Он заметил, что многие пассажиры, в том числе и молодой кубинский «супермен», удостоились такого же особого приема и что всех их ждали такие же, как у него, черные «кадиллаки» с персональными шоферами.

В машине кроме него оказался также весьма приятный мужчина, высокий и очень худой, с соломенными волосами, веселыми голубыми глазами и длинной шеей с огромным кадыком, в угловатых чертах которого, живых и насмешливых, было что-то лошадиное, очень симпатичное и располагающее к дружбе. Пассажир представился: его звали Агги Ольсен, он был датчанин, из Копенгагена. Они обменялись несколькими словами по поводу этого прекрасного и очень чистого города, где доктору Хорвату случалось бывать. Проповедник заметил у ног его спутника довольно большой ящик странной формы, походивший одновременно на скрипичный футляр и на гроб. Ящик был громоздкий, его следовало бы поместить в багажник, так было бы удобнее для всех. С ними оказался также и молодой кубинец, скромно устроившийся рядом с шофером.

Ехать от аэропорта до столицы было не меньше часа. Со всех сторон их окружали вулканы – одна из главных туристических достопримечательностей страны. Доктор Хорват почувствовал вдруг какое-то стеснение, ему словно стало тяжело дышать. Им овладела странная тревога, совершенно для него непривычная, – настоящая паника. Он легко справился с этой нервозностью, причиной которой стали, несомненно, высота и замкнутое пространство, но поддерживать разговор с симпатичным датчанином, который, похоже, не испытывал никакого дискомфорта, у него получалось с трудом. Машина ехала слишком быстро; шофер-индеец вел ее в грубой манере, резко крутил руль: всем известно, что эти люди – самые опасные водители в мире. Они находились на высоте двух тысяч семисот метров над уровнем моря, его предупре-

⁵ Трухильо Молина, Рафаэль Леонидас (1891–1961) – доминиканский государственный и политический деятель, фактический правитель страны в период с 1930 по 1961 год (в 1930–1938 и 1942–1952 годах официально занимал президентский пост). Его правление, получившее название «эра Трухильо», считается одним из наиболее кровавопрлитных в истории Америки.

ждали, чтобы он избегал излишних физических нагрузок; правда, недомогание, которое он испытывал, с лихвой компенсировалось величием пейзажа, наводившего на мысли о каком-то чудовищном катаклизме. Все вокруг было черным, словно обожженным, вулканические скалы сверкали алмазными искрами, щетинились гигантскими кактусами с белыми и красными цветами, из которых он узнал только колонновидные аризонские кактусы, достигавшие десятиметровой высоты. Насколько хватало глаз, один за другим поднимались черные конусы вулканов, в симметрии которых проступала точная схема Божьего замысла. Доктору Хорвату этот пейзаж был знаком по фотографиям в журнале «Нэйшнл Джеографик», который он регулярно получал по подписке, однако реальное, физическое присутствие этих монстров, мертвых и в то же время непостижимо живых в своей окаменелой черной злобе, эти горы, словно скривившиеся в полной ненависти гримасе последнего извержения, дышали такой геологической мощью, что невольно наводили на мысль о неведомом ужасном царстве, сокрытом в недрах земли. Прятавшееся за вершинами невидимое солнце наполняло небо ледяным сиянием, отвергавшим любой взгляд как нечистоту. Доктору Хорвату случалось пролетать над Кордильерами, но он ни разу не видел такого ландшафта, где катастрофа, словно схваченная на лету, тут же была обращена в вечность. Извержения вулканов и землетрясения несколько раз ровняли столлицу с землей; во время извержения 1781 года в потоках лавы погибли на пути в Гватемалу вице-король Санчес Доминго и почти вся его свита, состоявшая из иезуитов, «солдат удачи», актеров и шутов-карликов. Один из немногих выживших, отец Доменико, рассказывая об этих событиях, поведал, что единственными, чьи тела были найдены, оказались «гулящая комедиантка, девица Росита Лопес, и горбатый карлик Камило Альварес, которые позволяли себе глумиться над самим Господом Богом, что лишь доказывает дьявольское, а не божественное происхождение ужасного катаклизма». Добрый иезуит не пояснил, что за сила уберегла его самого. Последнее землетрясение, случившееся в 1917 году, было не таким сильным: добрая треть населения уцелела. Сейчас доктор Хорват видел перед собой именно этот вулкан – виновника стольких несчастий, и, хотя в настоящее время геологи единодушно считали его потухшим, выглядел он весьма устрашающе. Его зубчатая, заснеженная вершина словно скалилась в свирепой усмешке, но тут, конечно, надо было учитывать и игру воображения. С удручающей настойчивостью вулкан вновь и вновь появлялся при каждом повороте; невидимая столица находилась за ним; долина постепенно расширялась, почти отвесные стены по сторонам дороги расступались, и вскоре машина выехала на многокилометровое плато, усеянное черными скалами вулканической породы; между ними там и тут виднелись убогие домики из такого же обожженного камня, построенные среди чахлах кустарников и плантаций кактусов, из которых крестьяне добывали *нейотль*, наркотик, служивший им одновременно и источником доходов, и средством забвения. Прекрасная асфальтовая дорога содержалась в отличном состоянии. Салон «кадиллака» охлаждался. Плато было усеяно камнями, казалось, что они напали с неба в результате какого-то невероятного камнепада. Справа совсем близко, в нескольких сотнях метров от них, вздымались склоны вулкана; искаленные скалы были, словно шерстью, покрыты зарослями карликовых кактусов – так называемых *десхиго*, которые топорщили иголки и заламывали свои зеленые и желтые сочленения. Доктор Хорват решил, что ему редко приходилось видеть менее христианский ландшафт и что эти иссохшие, каменистые, пыльные равнины, где то, что не уничтожила лава, было выжжено солнцем, должно быть, кишат змеями.

– Выпустите меня! – раздался вдруг чей-то голос.

Доктор Хорват подскочил от неожиданности и, приподняв брови в некотором удивлении, обернулся к своим спутникам, но датчанин только любезно улыбнулся ему, а молодой кубинец и сам удивленно вглядывался в глубь лимузина.

– Да выпустите же меня отсюда, господи боже мой, – сердито повторил голос. – Я сейчас задохнусь.

Доктор Хорват услышал совсем рядом покашливание, которое исходило не от датчанина, не от шофера, кубинец же, сверкая золотом улыбки, выглядел слегка испуганным.

– Черт бы вас побрал! – не унимался голос. – Если вы сейчас же не дадите мне глотнуть воздуха, я больше никогда не буду разговаривать, и вы сдохнете с голоду.

– Что это? – спросил доктор Хорват.

Датчанин, казалось, был немало озадачен.

– Хотел бы я знать, – сказал он.

– Вы хотели бы знать? – воскликнул насмешливо голос. – Послушайте, мистер Хорват (надеюсь, я правильно произнес ваше имя, милейший доктор, я прочел его у вас на чемодане), я хочу, чтобы вы знали, что рядом с вами сидит тиран, который уже много лет помыкает мной и которого мне приходится, так сказать, тащить на себе. Это форменное рабство, сударь, более того – это бесстыдная эксплуатация выдающегося таланта. Такое должно караться законом. Говорю что думаю.

Стоявший на коленях у датчанина ящик вдруг раскрылся, и из него появилась кукла-паяц с жестким туловищем и ножками в полосатых штанах, лежавшими на фиолетовом бархате подкладки.

«Чревовещатель», – с некоторым раздражением подумал проповедник.

– Познакомьтесь, это мой друг Оле Йенсен, – сказал датчанин.

– Терпеть не могу чревовещателей, – проворчал паяц. – Все они бездельники. Но тем не менее, приятно познакомиться.

Доктор Хорват натянуто улыбнулся. Он ненавидел шутки и розыгрыши – юмор такого рода был ему не по душе. Но он не показал виду и даже пожал протянутую ручку куклы. Теперь паяц сидел на коленях у своего хозяина, уставившись на проповедника стеклянными глазками с тем самым циничным выражением, которое почему-то чревовещатели обязательно придают лицам своих кукол. У Оле Йенсена были рыжие волосы, розовые щеки, необычайно насмешливый и заносчивый вид, во рту он держал толстую сигару. На нем был надет пиджачок, в руке – цилиндр, которым он прикрывал колени, и он то и дело вертел головой, поглядывая то на своего хозяина, то на собеседника. Все это делалось крайне ловко, и часа в два-три ночи, после нескольких бокалов неразбавленного мартини, выглядело, очевидно, очень смешно. Возможно, в этом номере было немало игривых намеков и двусмысленностей, помогавших зрителям скоротать время между двумя сеансами стриптиза. Преподобный Хорват не мог скрыть неудовольствия: нет, он не имел никаких обычных предубеждений против циркачей, цыган и разных мюзик-холльных шутов, просто он не считал их приличной компанией для человека, приехавшего в страну по официальному приглашению властей.

Датчанин пояснил, что они получили ангажемент в один столичный ночной клуб, «Эль Сеньор», слывший одним из лучших в мире заведений такого типа и часто представлявший новые, оригинальные аттракционы раньше парижского «Лидо» или «Фламинго» в Лас-Вегасе. Проповедник ни разу не бывал ни в «Лидо», ни в одном из злчных мест Лас-Вегаса и был уверен, что и в это кабаре он не пойдет, какова бы ни была его репутация. Тем не менее он вежливо расспросил господина Ольсена о его номере и о странах, в которых тот побывал.

– Вот уже почти год, как мы ездим по миру с турне, а перед этим месяц отдыхали в Копенгагене, – рассказал чревовещатель.

– Да-да, – отозвался хриплым голосом паяц, – и мне все это надоело. Мне не терпится поскорее вернуться к *его* жене. Хе-хе-хе!

Проповеднику эта шутка показалась неуместной. Паяц же все пялился на него стеклянным взглядом, улыбаясь вечной улыбкой, сиявшей вокруг неизменной сигары. Каждый раз, когда он начинал говорить, улыбка, сигара приходили в движение, надо было признать, что голос с поразительной достоверностью будто на самом деле звучал у него изо рта. Отлично сработано. Доктор Хорват задумался, в чем тут дело – в мастерстве или таланте, но в любом

случае работа была виртуозная. Молодой кубинец смотрел на паяца с восхищением и смеялся. Сам он тоже артист, пояснил он на ломаном английском языке. Мистер Ольсен спросил его, не в «Эль Сеньор» ли он едет работать, но молодой человек покачал головой.

– Нет, – ответил он.

– А что у вас за номер? – из чистой вежливости спросил доктор Хорват.

Молодой человек тут же утратил все навыки английского, которые демонстрировал до сих пор. У него особый талант, и у себя дома он довольно известен, но революция Фиделя Кастро положила конец туризму и ночной жизни в Гаване. Один сезон он выступал в Акапулько, а теперь ему предложили ангажемент здесь... Сказав это, он не смог больше произнести ни слова и отвернулся.

Доктор Хорват рассеянно слушал, как чревовещатель рассказывает о своих путешествиях, паяц же тем временем пялился на проповедника с неприятно нахальным видом.

– Сдается мне, что вы тоже артист? – раздался вдруг его голос. – Погодите, ничего не говорите, дайте-ка я сам угадаю. Смее думать, что я неплохой физиономист. И почти всегда по одному виду собрата по цеху угадываю, в каком жанре он работает. Ну-ка, ну-ка...

Проповедник был так возмущен, что не смог сразу ничего возразить. Затем, видя, как чревовещатель задумчиво разглядывает его лицо, вдруг вспомнил слова одного журналиста, которые тот написал после его последнего триумфального крестового похода на Нью-Йорк: «Этот профиль и шевелюра молодого Листа во время импровизации... Доктор Хорват умеет затронуть нужные струны, и мастерство, с которым он это делает, относится скорее к области искусства, чем веры...»

– Вы иллюзионист, – сказал наконец датчанин, – маг, а может, гипнотизер. Думаю, я не ошибся.

Доктор Хорват сглотнул слюну и ответил, что он проповедник. Оле Йенсен повернул голову к хозяину; все его тельце сотрясилось от издевательского смеха, становившегося все громче.

– Вот уж правда, физиономист, – воскликнул он. – Дурак ты, и больше ничего, Агги Ольсен, я всегда тебе это говорил.

Датчанин рассыпался в извинениях. Он никак не ожидал встретить среди пассажиров этой автоколонны пастора и был крайне смущен, но все же позволил себе привести смягчающее его вину обстоятельство:

– Мы же все здесь эстрадные артисты, – пояснил он, указывая жестом на следовавшие за ними четыре «кадиллака».

Большая часть пассажиров самолета были приглашены в «Эль Сеньор», чтобы принять участие в новой программе. Он надеялся, что преподобный простит его.

Узнав, что большинство из его спутников – циркачи, доктор Хорват был крайне удивлен, но еще больше его удивило, что все они, как и он, приехали по личному приглашению генерала Альмайо. Это задело его и даже расстроило. Он задумался, действительно ли все это – простое совпадение, или все же тут есть какая-то недобрая ирония. Упреки в комедиантстве и кривлянии, расточаемые теми, в кого он целил во время своих выступлений, больно ранили его. Букмекеры, сутенеры, шантажисты, нечистоплотные дельцы – все те, кто занимался темными делишками, действительно не упускали случая с презрением отозваться о его «очередном номере». Он покорно стиснул зубы и призвал на помощь фразу великого христианского поэта⁶, которую часто цитировал: «Споткнувшийся о камень шел уже двести тысяч лет, когда услышал крики ненависти и презрения, которыми его хотели напугать...» «Celui qu'une pierre fait trébucher marchait déjà depuis deux cent mille ans lorsqu'il entendit des cris de haine et de mépris

⁶ Имеется в виду *Анри Мишо* (1899–1984) – французский поэт и художник с валлонскими, немецкими, испанскими корнями.

qui prétendaient lui faire peur...» В конце концов, все нападки и насмешки, которым он подвергался, были признанием его деятельности; ничто не пробуждает больше злобы и ненависти в стане врага рода человеческого, чем чистота помыслов и добрая воля, особенно когда они превращаются в весьма осязаемые результаты, в духовную и материальную помощь, оказываемую слаборазвитым душам. Вместе с ним мишенью для этих ядовитых плевков стала вся Америка: и то правда, разве можно высоко, твердой рукой нести факел истины и не вызвать при этом ярости врага рода человеческого?

Левый глаз куклы наполовину закрылся, что, очевидно, должно было считаться очень смешным. Вся эта комедия отличалась самым дурным вкусом, однако чревовещатель, вне всякого сомнения, не имел дурных намерений, речь шла скорее о некоей профессиональной деформации. Он просто не мог удержаться и не продемонстрировать свое умение, в этом все дело. Доктор Хорват вежливо улыбнулся и отвернулся к окну.

Глава II

Во втором «кадиллаке» мужчина лет сорока, напоминавший внешним видом афиши и иллюстрации «Прекрасной эпохи» (те же усики и остроконечная бородка, та же величественная осанка, неудержимо ассоциирующаяся с дуэлями, обманутыми мужьями, мелодрамами, отдельными кабинетами, то есть все то, что так исчерпывающе определяется выражением «красавец-мужчина»), с несколько печальным видом беседовал со своим попутчиком, невысоким, тщательно одетым человечком, чьи выющиеся волосы, с поистине геометрической точностью разделенные посередине пробором, были искусно покрашены таким образом, чтобы лишь на висках было видно немного проседи, что свидетельствовало о его явном стремлении к изысканности.

– Дело тут вовсе не в мелком тщеславии, – говорил пассажир. – Конечно, настоящий художник всегда думает о будущих поколениях, хотя я прекрасно знаю, насколько пусты все эти восторженные крики и восхищение толпы, а также насколько малоутешительно сознание того, что твое имя будет жить в веках. Но я хотел бы дать это Франции, хотел бы совершить это во славу родины. Увы, мы перестали быть мировой державой, которой были когда-то: так тем более французский гений должен стремиться превзойти самого себя во всех сферах жизни. Я чувствую, что могу добиться этого, что во мне есть нечто этакое, мне всего и надо-то немного вдохновения, но, не знаю почему, в последний момент что-то обязательно срывается. Конечно, за всю историю человечества это никому не удалось.

– Есть люди, которые утверждают, будто это получилось у великого Царцидзе, грузина, во время специального представления в Петербурге, в 1905 году, в присутствии самого царя, – сказал его собеседник.

– Это легенда, – безапелляционно заявил первый, и на лице его выразилось негодование. – Никто и никогда не смог этого доказать. В том представлении принимал участие Буррико, старый клоун, француз, он жив до сих пор, так вот он утверждал, что во всем этом нет ни слова правды. Царцидзе так и не смог превзойти Растелли, а мы все знаем, что тот умер на пике славы с разбитым сердцем, потому что исчерпал свои возможности. Мне не хотелось бы, чтобы вы приняли меня за шовиниста, но я все же скажу: если и найдется когда-нибудь жонглер, которому удастся сделать номер с тринадцатю шариками, это будет француз, просто потому, что это буду я. Два года назад сам генерал Де Голь наградил меня орденом Почетного легиона за особые заслуги в распространении французской культуры за границей, за мой вклад в демонстрацию нашего национального гения в мире. Если бы только раз, один лишь раз, неважно когда, неважно где, на какой сцене, перед какой публикой, я смог превзойти самого себя и прожонглировать тринадцатю шариками, а не этими треклятыми двенадцатю, которыми жонглирую обычно, я бы мог считать, что действительно совершил нечто такое, что способствовало бы величю моей родины. Но время идет, и пусть в сорок лет я еще полностью владею этим искусством, бывают минуты, как, например, сегодня, когда я начинаю сомневаться в себе. А ведь я пожертвовал ради искусства всем, даже женщинами. От любви дрожат руки.

Его собеседник нервно теребил галстук-бабочку. Его звали Чарли Кан; он был директором одного из крупнейших артистических агентств Соединенных Штатов и вот уже тридцать пять лет колесил по свету в поисках невиданных номеров и новых дарований. Он страстно любил свою профессию и всех тех, кто на танцевальных подмостках, на сцене, в прокуренных, полных пьяниц залах кабаре делились талантом, выкладывались без остатка, дарили истосковавшимся по возвышенному людям иллюзию и возможность поверить в невозможное. Наряду с Полем-Луи Гереном из «Лидо», Карлом Хаффендеком из гамбургской «Адри» и Цецуме Магасуши из токийской «Мидзы» он был одним из самых неутомимых искателей талантов – «тэйлент скаутом», если воспользоваться американским профессиональным термином, вошед-

шим уже во все языки, и в самых отдаленных уголках земного шара не было цирка, мюзик-холла, ночного клуба, где бы он ни побывал в неутомимой погоне за сверхчеловеческим даром. Для него не существовало большей радости, чем обнаружить в мексиканском притоне, японском кабаке, в Иране или в бразильской глубинке какой-нибудь не виданный ранее сверхоригинальный номер. Он испортил желудок отвратительной едой, которой питался в разных диких углах. У него не было никакой личной жизни: он был дважды женат, но никакими драгоценностями, мехами и «Роллс-Ройсами» не удалось ему компенсировать своих постоянных отлучек и бесконечных гонок за диковинками. Самые красивые любовницы всегда шли для него после какого-нибудь далекого циркача, о котором говорили, будто он обладает неслыханным дарованием. Психоаналитик, к которому он обратился за консультацией, объяснил ему, что это – типичный случай инфантилизма, когда во взрослом человеке продолжает жить ребенок с его детскими мечтами о чудесах. Чарли Кан не стал долго задумываться по этому поводу, но все же спросил у психиатра, угодно ли Господу, чтобы во взрослом человеке продолжал жить ребенок, и может ли тут помочь психоанализ. Доктор ответил весьма туманно, но Чарли Кан из его слов понял, как ему показалось, что человеческая душа, кроме, так сказать, законных потребностей, обладает еще и другими, которые как бы отклонились, пойдя иным путем. Это его не убедило. Его сентиментальная жизнь свелась к череде профессионалок, талантам которых странным образом недоставало разнообразия и оригинальности. И тут стоящие номера были редкостью. Он давно уже достиг вершины мастерства, на него работали теперь другие искатели талантов, но он по-прежнему рыскал по горам, по долам, как старый охотничий пес, который не может устоять перед искушением взять след, и, несмотря на приобретенный с годами скептический взгляд на жизнь, несмотря на некоторое разочарование, на утверждения, что он-де ничего больше не ждет, что границы человеческих возможностей можно лишь сдвинуть на какие-то жалкие миллиметры, и то ценой невероятных усилий, и что никогда уже они не разлетятся вдребезги под напором уникального, ни с чем не сравнимого дарования, – несмотря на все это под маской отчуждения и сомнения в нем продолжали жить любопытство и жажда чуда. В глубине души он по-прежнему питал надежду, что в один прекрасный день в каком-нибудь Богом забытом уголке земли внезапно проявится некое бесподобное, сверхчеловеческое дарование, и что тогда все сразу изменится. Он был готов в любой момент запрыгнуть в самолет и мчаться на край света, чтобы воочию убедиться, что в тегеранском клубе «Пивная кружка» действительно появился человек, который делает пять сальто-мортале подряд, не касаясь пола и не используя никакого трамплина, или что в Гонконге какой-то юный акробат может стоять вниз головой, опираясь исключительно на мизинец, – не на указательный палец, как делал швейцарец Ролл из Цирка Кни⁷, а на мизинец, опровергая все законы земного тяготения и равновесия, – абсолютно сенсационный номер, триумфальный успех, заставлявший колотиться сердце каждого достойного человека, убедительное доказательство того, что для нас, людей, на этой земле не существует границ, что мы можем всё и что человечество не зря предается мечтам.

Жонглер (его звали мсье Антуан, и был он из Марселя) был его старым знакомым и «настоящим артистом», но Чарли Кан знал, что в сорок лет о тринадцатом шарике ему лучше было бы забыть.

– Сантини, тот сицилиец, мог бы творить чудеса, если бы не начал пить.

Француза эти слова задели.

– Вы прекрасно знаете, что Сантини жонглировал только шестью шариками и что он стал алкоголиком, потому что ему так и не удалось разорвать это, как он его называл, стальное кольцо.

⁷ Цирк Кни – швейцарский семейный цирк, считающийся одним из лучших в Европе; основан в начале XIX века Фридрихом Кни.

Его собеседник кивнул.

– Да, правда, – сказал он. – Но не надо забывать стойку, в которой он ими жонглировал. Я видел его в Буэнос-Айресе за месяц до того, как он впал в депрессию. Не стану говорить, что он вышел за пределы человеческих возможностей, но все же... Так далеко человек еще не заходил. Он стоял на одной ноге на бутылке из-под шампанского, установленной на резиновый мяч, вторая нога была отведена назад в согнутом состоянии, и на ней вращалось пять колец, на голове у него стояла вторая бутылка, на которой были установлены три теннисных мячика – один на другой; на носу он удерживал трость с надетым на нее цилиндром, и в этом положении он еще и жонглировал шестью шариками. Опять же повторю, что он не делал ничего сверхъестественного, но тем не менее это было незабываемое зрелище, наглядно демонстрирующее, на что способен человеческий гений. Необыкновенный номер и весьма обнадеживающий, поскольку он показывал, что нет на свете ничего невозможного, что от человека всего можно ожидать. Да, он действительно стал пить как свинья, но надо сказать, что у него тогда жена сбежала с любовником. Ей просто надоело. Он ведь стоял на этой бутылке по десять-одиннадцать часов в день. Ну, вы понимаете...

– На мой взгляд, – с южной запальчивостью заговорил француз, – вся эта история с бутылками, этот преднамеренный выбор стойки, кажущейся совершенно невозможной, все это – лишь оправдание. На самом деле все это делалось, чтобы отвлечь внимание зрителя от того, что Сантини никогда не умел жонглировать больше, чем шестью шариками. Я хочу сказать, что он разработал свой номер, собрав в нем разнообразные сложные элементы, с легкостью исполняя их, чтобы создалось общее впечатление, будто он совершает нечто совершенно невозможное. Не хочу критиковать столь выдающегося коллегу, но я утверждаю, что Сантини просто обманщик и что под его выкрутасами скрывается отсутствие истинного, глубокого дарования. Он просто пускал пыль в глаза, а все эти его штучки – это попытка избежать прямого сравнения. Вот я, например, работаю вообще без аксессуаров: мне не нужны никакие бутылки, только жонглирую я двенадцатью шариками. Можете вы назвать мне еще кого-нибудь, кто так может? Я был бы рад познакомиться. Вот это – классика, настоящее искусство, строгий стиль в чистом виде, без всех этих итальянских штучек, которые на самом деле только отвлекают публику от настоящих трудностей, стоящих на пути истинного артиста. Да, вы сорвете дешевые аплодисменты, но настоящего величия не достигнете. Я – классик, в лучших традициях французского восемнадцатого века. Чистота стиля, открытый, честный вызов «стальному кольцу» – вот единственное, что имеет для меня значение. Борьба должна быть честной, иначе о какой победе можно говорить? Но признаюсь, что, пока я не овладею этим последним шариком, я не успокоюсь. И что-то подсказывает мне, что настанет день, когда я положу к ногам родины эту победу. Вы, конечно, знаете, что в области искусств Франция получила больше Нобелевских премий, чем любая другая страна.

– На сегодняшний день вы, без сомнения, самый великий мастер, – сказал спутник, который слишком ценил проявления человеческого величия вообще, чтобы обращать внимание на национальные проблемы.

Француз вздохнул. Слова «на сегодняшний день» прозвучали жестоко, пробудив живущий в сердце каждого артиста страх, что однажды на земле появится какой-то счастливчик и на глазах благодарной и восхищенной публики исполнит еще более эффектный номер. Ведь даже Наполеон в конце концов лишился трона. Непревзойденность, мастерство, владение своим искусством – все это преходяще, не вечно, ну и что, что ты самый великий, ведь величие во все времена держалось за счет каких-то миллиметров. Как было бы приятно быть человеком, если бы люди принадлежали к другому, высшему виду, подумал Чарли Кан, не без симпатии поглядывая на своего спутника.

– Я думаю попробовать сегодня еще раз, – сказал француз. – Я, знаете ли, постоянно боюсь, что этот номер у меня получится, когда я буду один и что мне никогда не удастся повто-

рить его при свидетелях. Вы же знаете, как трудно заставить людей поверить во что бы то ни было. Они всё хотят видеть собственными глазами.

– Говорю вам, в один прекрасный день у вас получится, – сказал Чарли Кан. – В вас есть что-то такое – я чувствую.

Мсье Антуан хмуро взирал на черные нагромождения застывшей лавы, заросли кактусов и вулкан, заснеженная вершина которого вырисовывалась на фоне неба подобием собачьей головы.

Глава III

Чарли Кана звали раньше Меджид Кура – это было его настоящее имя. Родился он в Алеппо; вскоре после приезда в Америку, а случилось это более сорока лет назад, соприкоснувшись впервые с артистическим миром, он решил американизироваться и взял себе имя Чарли Кан, и лишь потом обратил внимание, что звучит оно не совсем по-американски. Но было поздно. Он уже не мог от него отделаться, как и от некоторых других вещей, которые ему приходилось повсюду таскать за собой, как то: шумы в сердце, склонность к отекам, постепенно искажавшая черты его лица и фигуру и вынуждавшая его окончательно позабыть о стройном молодом человеке, чьи прекрасные восточные черты казались ему теперь чертами его никогда не существовавшего сына. А главное, в нем жила эта странная надежда, иногда почти болезненная, тоска или любопытство, он и сам не знал точно, которая поддерживала его все время в состоянии тревожного ожидания, постоянного «саспенса» и толкала на поиски совершенно уникального, потрясающего номера, в котором проявилось бы все величие человека. Его преследовала мысль, что где-то, в неведомых краях, скрывается изумительный, еще не раскрытый талант, который только и ждет, чтобы его открыли людям. Проработав в профессии сорок лет, иногда, в минуты усталости и бессонницы, он задумывался, доживет ли он когда-нибудь до этого момента, до этого откровения, после которого можно будет, как он сам говорил, и «уснуть вечным сном праведника», с уверенностью, что его карьера искателя талантов только начинается. Несмотря на показной скептицизм, на ироничную усмешку, скрывавшуюся под усами, подернутыми густой сединой, которую он каждое утро тщательно закрашивал карандашом, несмотря на всех жуликов, шарлатанов, фальсификаторов, которых он перевидал на своем веку и чьи уловки знал как свои пять пальцев, вопреки всем этим паразитам, игравшим на самом сокровенном, самом святом стремлении человеческого сердца, он сумел сохранить в неприкосновенности веру и страсть к открытиям, благодаря которым считался одним из лучших поставщиков артистов в ночные кабаки всего мира.

Итак, он благожелательно слушал откровения великого французского жонглера, который заливался соловьем, рассказывая о своих устремлениях и неудачах. Он тысячу раз слышал эту историю – признания человека, мечтающего о совершенстве, об абсолюте. Жонглеры особенно подвержены этим приступам отчаяния, потому что всегда испытывают искушение не останавливаться на достигнутом и все время придумывают для своего номера что-то новое. Они постоянно живут на нервах, занимаясь ремеслом, требующим исключительного владения собой. Южный говорок француза, пафос его речи, негодование, с которым он признавался в собственных поражениях в ходе долгой борьбы со «стальным кольцом», ограничивающим человеческие возможности, придавали его высказываниям слегка комический оттенок, но надо иметь снисхождение к тем, кто так старается ради людей. Чарли Кан то и дело нетерпеливо поглядывал на часы. Путь от аэропорта до столицы был долог, оставалось еще не меньше полчаса, а он торопился. У него имелись важные новости для того, кто был в некотором роде его патроном: ведь это Альмайю дал ему денег, помог выстроить двенадцатиэтажное здание в Беверли-Хиллз на Сансет-бульваре, ему же принадлежали и семьдесят пять процентов акций его агентства. Чарли Кана осуждали за его отношения с диктатором; поговаривали, что «искатель талантов» поставлял генералу, через чьи руки проходило огромное количество женщин, молодых актрис. Однако Альмайю, который не раздумывая мог подарить девице «Форд Тан-дерберд» или жемчужное ожерелье, не нужен был скаут в Голливуде; он пользовался такой репутацией, что после пребывания очередной звезды у него в столице, в Голливуде можно было наблюдать следующую картину: прекрасная блондинка за рулем новенького «Тандерберда», на заднем стекле которого красуется надпись: «Этот автомобиль – не подарок от Альмайю». Был и такой случай, когда другая знаменитость по возвращении из подобного путешествия

развесила у себя дома пять полотен импрессионистов, на что последовали такие комментарии, что несчастная в полном расстройстве вынуждена была созвать журналистов и сделать им, вероятно, самое потрясающее заявление из всех, что звучали в Голливуде за всю его звездную историю: «Я совершенно не знала, – сказала она, – кто такие импрессионисты, иначе, вы сами понимаете, я ни за что не приняла бы этот подарок». Когда же журналисты заметили, что полотна были приобретены ценой пота, страданий и нищеты простого народа, несчастная рыдалась и в порыве обуявшего ее человеколюбия заявила: «Если это так, то я ни секунды не желаю их больше видеть у себя. Я их продам». Эти истории были слишком широко известны и многочисленны, чтобы кто-то мог обвинить Чарли Кана в том, что он действительно играет ту неблагоприятную роль, которую приписывали ему конкуренты. Альмайю имел посольства и консульства во всем мире, и его представители хорошо знали его вкусы. Как выразился однажды один английский дипломат: «Если бы генерал переспал со всеми девицами, которых подсовывают ему в постель, страна давно бы уже от него избавилась». Интерес, проявляемый генералом к одному из лучших артистических агентств Соединенных Штатов, объяснялся совсем другой причиной; Чарли Кану она была прекрасно известна, хотя он ни разу не осмелился заговорить об этом со своим «компаньоном». Он был, вне всякого сомнения, единственным среди всех журналистов, дипломатов и политических обозревателей этого региона земного шара, кто знал тайну этого выходца из индейских низов с их нищетой, невежеством и отчаянием, ставшего к тридцати семи годам одной из самых грозных и роковых фигур того, что принято называть – и совершенно напрасно – Латинской Америкой. Чарли Кан смутно представлял себе, что такое «латинский мир», но если это выражение призвано обозначать Испанию или христианские цивилизации, то ничего комичнее он в своей жизни не слышал, это даже смешнее шуток, которыми веселили публику Уилл Роджерс, У. К. Филдс и Джек Бенни.

Он рассеянно посмотрел на эскорт мотоциклистов, ехавший впереди вереницы «кадиллаков», и впервые отметил, что от самого аэропорта на дорогах практически не было никакого движения, а ведь это была несомненно самая оживленная трасса региона. Единственным транспортом, который он заметил, были грузовики со множеством солдат, каких можно было видеть повсюду в стране, – в зеленой форме и с немецкими касками на головах. После Первой мировой войны германские офицеры в изгнании обучали местную армию, что позволяло им и самим не терять формы, и, несмотря на все перемены и политические катаклизмы последних сорока лет, военное обмундирование здесь не изменилось, войска по-прежнему маршировали строевым шагом, и было крайне странно видеть под кайзеровскими или гитлеровскими масками эти индейские лица, отмеченные таким образом, возможно, самой характерной и самой узнаваемой печатью одной из самых высокоразвитых европейских цивилизаций. Наверняка в столице проходила какая-то шумная фиеста или, что более вероятно, какое-нибудь политическое собрание: обязательное присутствие граждан на таких мероприятиях опустошало окрестности и парализовало на целый день жизнь всей страны. Чарли Кан зажег сигарету и запасся терпением; он задумался о том, как воспримет Альмайю долгожданную новость, ради которой он к нему и ехал. Он не знал, что везет – новую игрушку или адскую машину.

Рядом с ним, скрестив на груди руки, мсье Антуан продолжал горячо делиться своей навязчивой идеей: желанием совершить невиданный доселе подвиг во славу родины и всего человеческого рода.

Глава IV

В третьем «кадиллаке» Джон Шелдон («Гласс, Виттельбах и Шелдон»), представлявший интересы Альмайо в Соединенных Штатах Америки – сеть отелей, нефтяные скважины, авиалиния, внушительный пакет швейцарских акций, не говоря о множестве других бизнесов, находившихся еще в зачаточном состоянии, для запуска которых достаточно было лишь шевельнуть пальцем, – сидел рядом с тщедушным молодым человеком, в котором, в сущности, не было ничего примечательного, если не считать гривы темных волос и потрясающих рук. Адвокат знал, что у него будет очень мало времени, чтобы поговорить с Альмайо о делах, что диктатор, как всегда, откажется смотреть документы, нетерпеливо отпихнет их со своим обычным «окей», затем пройдет в бар, где быстро проглотит несколько martinis, за чем последует ужин и вечеринка в «Эль Сеньоре» в компании крикливых девиц, чьих имен генерал никогда не помнил. К двум часам ночи Альмайо закатит обычную сцену, начнет насмехаться и отпускать мерзкие шуточки (как многие индейцы, Альмайо, напившись, либо становился агрессивным и начинал всех задирать, либо тупел), потому что адвокат откажется присутствовать на «маленьком представлении», которое две или больше девиц устраивали ему в частных апартаментах. А наутро ему уезжать, и опять он будет чувствовать это унижение от того, что был вынужден из корысти терпеть речи и выходки, которые как истинный демократ, примерный отец семейства и лютеранин считал оскорбительными и недопустимыми. Поэтому мистер Шелдон старался свести все, что ему надо было сказать Альмайо, к нескольким простым словам, чтобы как можно скорее покончить с этим, прежде чем иссякнут ограниченные запасы терпения главного клиента его фирмы. Это было не просто. Увидев, что ему предстоит разделить автомобиль с еще одним пассажиром, он почувствовал некоторое раздражение: придется вести какие-то разговоры, быть любезным, а ему так надо было сосредоточиться на том, что он должен был сказать. Но в поездках по Латинской Америке он всегда испытывал потребность произвести на иностранцев хорошее впечатление и составить благоприятный образ своей страны; любой американец, оказавшийся в этом регионе, обязан, хочет он того или нет, быть в некотором роде послом Соединенных Штатов. Так что он первым завязал разговор, обменявшись со своим попутчиком несколькими любезностями. Тот представился: «Господин Манулеско», – и посмотрел на адвоката так, словно ожидал от него восторженного отклика. Поскольку Шелдон не выказал по этому поводу особого восторга, его собеседник добавил: «Антон Манулеско, знаменитый виртуоз».

Адвокату показалось несколько странным, чтобы видный артист, представляясь, называл самого себя «знаменитым», но он лишь вежливо поклонился. Ему не терпелось поскорее покончить с разговорами и заняться наконец лежавшими у него в портфеле бумагами. Он спросил маэстро, собирается ли тот дать сольный концерт в новом столичном концертном зале, построенном знаменитым бразильским архитектором.

Господин Манулеско немного смутился и отвернулся с глубоким вздохом. Нет, он будет играть в ночном клубе «Эль Сеньор». Адвокату удалось не показать излишнего удивления, но он тем не менее не смог не приподнять чуть-чуть брови, отчего лицо виртуоза помрачнело. Шелдон поспешил спросить его, на каком инструменте он играет, и пояснить свою реакцию, впрочем вполне естественную, на то, что «всемирно известный виртуоз» выступает в ночном клубе.

– Я скрипач, – ответил румын.

И добавил, что дал только что по несколько концертов в Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Очень разнообразная программа – от Вивальди до Прокофьева. У него есть один экстраординарный номер, признался он в приливе гордости. Да, другого слова не найти: именно экстраординарный. По правде говоря, ничего подобного никогда не было. Сам Паганини даже не пытался

такого сделать. Чтобы подготовить этот номер, ему понадобились годы упорного труда под руководством родителей, тоже музыкантов. Было очень трудно и больно, но игра стоила свеч. Сегодня он единственный в мире скрипач, который может отыграть большой концерт классической музыки, стоя на голове.

Он с гордостью взглянул на адвоката, явно ожидая какого-то знака восхищения и уважения. Мистер Шелдон пристально разглядывал его в течение нескольких секунд, даже не пытаясь скрыть крайнего изумления, проступившего у него на лице, затем сглотнул и наконец выдал из себя несколько восхищенных слов.

Господин Манулеско принял их как должное. Затем он начал подробно описывать свой номер. Особенно он подчеркивал тот факт, что в нем не использовалось никакой специальной подставки для головы: он стоял прямо на полу и в течение всего концерта балансировал на собственном черепе. Когда в силу обстоятельств ему приходилось превосходить самого себя – например играя перед принцессой Маргарет, – он вынужден был оставаться в таком положении больше часа, естественно, с небольшими перерывами, например между отдельными частями произведения, когда надо кланяться публике в благодарность за аплодисменты. В мире просто не было никого, кто мог бы с ним соперничать. Конечно, можно вспомнить Хейфеца, Менухина и еще нескольких русских скрипачей, но самые строгие критики всегда признавали, что его искусство уникально и бесподобно, а один даже написал – у него в кармане лежит вырезка из газеты, – что трудно представить себе более убедительную победу человека над его ограниченной физической природой. Вопрос, разумеется, не только в равновесии, в акробатике: главное – музыка. Конечно, всегда найдутся те, кто будет утверждать, будто публика аплодирует исключительно акробатическим достижениям артиста: кругом ведь одна зависть. Даже если зрители сами не совсем это понимают, но это его музыкальный гений, его высокое искусство потрясает их, трогает до глубины души и заставляет с восторженными криками вскакивать с мест. Он – ученик великого Энеско и чувствует в себе силы потягаться с самыми прославленными музыкантами современности. К сожалению, вкусы публики сегодня извратились и коммерциализировались, и ему приходится идти на компромиссы, применяясь к некоторым требованиям, которые предъявляются спектаклям, но в том, что касается искусства, он не идет ни на какие уступки. Тем не менее, нужно, конечно, было найти что-то новое, яркое, чтобы быть замеченным, потому-то он и подготовил этот номер. Ему же всего двадцать четыре года, и как только его известность достигнет определенного уровня, что должно вот-вот произойти, он вернется к классической манере исполнения и покажет им, на что способен, и ему не понадобится больше эта чисто техническая виртуозность: не будет он больше играть, стоя вертикально на голове ногами вверх. Впрочем, он слышал, будто бы его техникой был поражен сам великий Менухин. Говорили, что тот у себя дома, в Греции, занимался йогой и что будто бы ему уже удавалось продержаться какое-то время стоя на голове. В любом случае, сказал он в заключение, материальный успех налицо: он уже смог накопить денег, чтобы купить себе скрипку Страдивари.

Совершенно позабыв про подготовку к деловому разговору с Хосе Альмайю, адвокат смотрел на виртуоза со смешанным чувством изумления и жалости. Мысль о том, что человек, только для того чтобы «пробиться» и привлечь к себе внимание, вынужден исполнять великую музыку, стоя на голове перед завсегдатаями ночного кабака, странным образом угнетала его. Честно говоря, он был просто потрясен. Он прекрасно знал, что в современном мире люди пресыщены, что им постоянно требуется что-то новое, особенно в Америке, где даже церкви устраивают рок-концерты, чтобы попытаться вернуть к Богу молодежь, перекормленную разнообразнейшими увеселениями. Однако он испытывал глубокое уважение к классической музыке и вообще к высокой культуре и считал себя в некотором роде покровителем искусств, тем более что отчисления музеям, оперным театрам и музыкальным учреждениям освобождаются от налогов, поскольку рассматриваются как благотворительность. Человеку,

возможно очень одаренному, коль скоро он играет на скрипке Страдивари, не следовало бы обременять себя заботами, связанными с саморекламой, и необходимостью завлекать публику посредством каких-то сенсационных ухищрений, не достойных его таланта.

В то время как молодой человек продолжал свой рассказ, адвокат с искренним сочувствием и симпатией размышлял о трудностях, подстерегающих в современном мире человека искусства. Вот, например, живописцу чего только не приходится изобретать, чтобы добиться признания. Америка – страна такой богатой культуры, в ней столько творческой энергии, столько талантов, что всем им так или иначе приходится вставать с ног на голову, придумывать какие-то эффектные трюки, чтобы привлечь к себе внимание публики. Господин Манулеско, похоже, был вундеркиндом. Его родители – профессиональные музыканты – стали обучать его игре на скрипке с четырех лет, а в шесть он уже гастролировал с концертами по всей Америке. В восемь лет он стал знаменитостью. Но потом, не известно почему, публика стала терять к нему интерес. С девяти до одиннадцати лет ему пришлось вести отчаянную борьбу с равнодушным импресарио и с пустыми залами. Для семьи наступили не лучшие времена; ангажементов становилось все меньше, хотя отец не жалел сил на рекламу: мальчик выходил на сцену в белом костюмчике, усыпанном блестками, его перекрашивали в блондина, чтобы придать ангельский вид и убавить несколько лет: на афишах указывалось, что ему семь, хотя на самом деле ему было уже двенадцать. Он никогда не раскрывал рта, потому что у него уже начинал ломаться голос; родители отвезли его в Ванкувер к доктору Вренну, известному эндокринологу и специалисту по проблемам роста, чтобы узнать, нельзя ли сделать так, чтобы он больше не рос. Все это, конечно, выглядело шокирующе, но не надо забывать, что еще в восемнадцатом веке в Италии мальчиков кастрировали, чтобы сохранить им чистый звонкий голос; в конце концов, кастраты пели хвалу Господу в самых больших храмах, и вполне естественно, что чистоту их голосовых связок стремились сохранить как можно дольше. Человек всегда жертвовал ради красоты всем. Тогда-то один сочувствовавший им агент и подал идею, оказавшуюся великолепной и позволившую юному вундеркинду, постепенно скатывавшемуся в пучину забвения, снова выплыть на поверхность. Ему было всего одиннадцать лет, и его можно было еще обучить чему угодно. Агент откопал где-то старого акробата со сломанной спиной, и тот вместе с отцом мальчика стал тренировать его по двенадцать часов в сутки: музыка требует упорных и постоянных упражнений. Не прошло и нескольких месяцев, как он добился замечательных успехов; мало-помалу он освоил новую технику исполнения, которую до него не использовал ни один скрипач. Однако для окончательного овладения этой техникой ему понадобилось еще два или три года; ему пришлось испытать и боль, немало слез было пролито; вначале бывало, что он падал по сто раз на дню. С неустанным терпением, на которое способны только те, кем движут самые чистые художественные идеалы и самая страстная любовь к музыке, отец снова и снова ставил его на голову; этот человек, сам так и не познавший настоящей славы, хотел благодаря сыну вкусить опьянение, которое дают артисту аплодисменты и успех. «Мой сын не будет неудачником», – повторял он после каждого падения, в то время как измученный мальчик плакал в три ручья, сидя на полу рядом со своей скрипкой. Да, он всем обязан отцу; не будь его любви, его энергии, сегодня никто и не вспомнил бы о маленьком виртуозе. И вот настал день, когда он смог вернуться на сцену и вновь предстать перед публикой, доведя до совершенства уникальную, не виданную доселе технику, в которой с ним не мог соперничать ни один музыкант; и он стал играть на скрипке, стоя на голове, в мюзик-холлах, в цирках и ночных ресторанах. Разумеется, все это временно: теперь, когда он вновь обрел благожелательность публики, когда все артистические агентства мира снова проявляют к нему интерес, не за горами и нью-йоркский Карнеги-Холл, и парижский зал «Плейель», и там уж не будет никаких выкрутасов – он будет играть, твердо стоя на обеих ногах, не завися ни от каких трюков и рекламных уловок. Все это лишь вопрос времени.

Интересно, верит ли юный Манулеско сам в то, что говорит, подумалось адвокату. Как бы то ни было, выглядел он именно так. Очевидно, что помимо акробатических навыков он развил в себе и другой талант, требовавший, возможно, еще большей гибкости, большего упорства: умение не смотреть правде в лицо. Он умел уходить от действительности. И тут он, вне всякого сомнения, был великим мастером, ибо нет в мире искусства и таланта выше этого. Теперь адвокат смотрел на своего попутчика с каплей зависти. При виде его наивного, счастливого лица, его широко раскрытых глаз, которые, казалось, уже видят у его ног толпы восторженных почитателей, было ясно, что он не понимает своего положения – положения ученой обезьяны. Мистер Шелдон сказал юноше, что обязательно постарается попасть туда, в Карнеги-Холл, на его концерт, чтобы рукоплескать его триумфу.

Господин Манулеско пояснил, что он, естественно, поостерегся брать свой драгоценный инструмент в это несколько экзотическое турне. Он сомневался, что местная публика сможет уловить все тонкости звучания инструмента. Поэтому он оставил своего «Страдивари» в сейфе одного нью-йоркского банка; он расценивал это как своего рода помещение денег, это надежнее, чем вкладывать деньги в золото, и истратил на эту покупку все свои сбережения. В своем же номере он использовал другую скрипку, миниатюрную. Публика от этого ничего не теряла, даже наоборот: ведь надо быть настоящим виртуозом, чтобы исполнять на этом крошечном инструменте, к примеру, Концерт Энеско или какую-нибудь сложнейшую вещь Паганини, а посетителей ночного ресторана техника исполнения или же, если хотите, акробатика впечатляют всегда больше, чем сама музыка. Скрипка у него здесь, в чемодане (он коснулся пальцем шикарного дорожного баула), вместе с костюмом. Нет, он выступает не в традиционном концертном фраке с белым галстуком; обычно он надевает желтые носки, балетные туфли с помпонами, пышные штаны и великолепную куртку, расшитую зелеными, красными и желтыми блестками.

Музыкальный клоун, грустно подумал адвокат, и сердце его сжалось от всех этих потуг несчастного, всех его патетических уловок, направленных лишь на то, чтобы скрыть правду, не признаться в собственном падении и сберечь хоть частицу мечты об истинном величии, которая, несомненно, все еще жила в нем.

Шофер последнего «Кадиллака» почтительно поглядывал в зеркало заднего вида на изрытое морщинами лицо матушки генерала Альмайо. В этом лице, будто вырубленном из камня, он, сглатывая слюну от рефлекторного страха, узнавал черты самого генерала, жесткие не только внешне: членам оппозиции, сброшенным в пропасть после короткой автомобильной прогулки или убитым на глазах у родных, была хорошо знакома их истинная беспощадность. Мать генерала была индианкой из племени кухон, обитавшего в жарких долинах тропического региона, в южной части полуострова, и не умела ни читать, ни писать. На лице ее застыло выражение несколько глуповатого довольства; она беспрестанно жевала листья *масталы*, которые возила с собой в стоявшей у нее на коленях роскошной дамской сумке американского производства, очевидно, подаренной сыном. То и дело она открывала сумку, доставала из нее пригоршню листьев и, сплюнув на пол коричневый, пропитанный слюной комок жвачки, отправляла в рот сухую порцию наркотика, после чего вновь принималась медленно жевать с раздувшейся от комка щекой. Хотя шофер и был одет в штатское с простой фуражкой без отличительных знаков, он состоял в особой службе безопасности, из которой формировалась личная охрана генерала, и знал, что генерал Альмайо раз в год вызывал мать в столицу, чтобы сфотографироваться с ней на торжествах по случаю очередной годовщины «демократической революции» и захвата власти. На фотографии он обнимал за плечи индианку, одетую в национальный костюм кухонов с серой фетровой шляпой на голове: такие «котелки» прижились среди индейцев ее племени около века назад, после того как там побывали первые английские купцы. Эти снимки можно было видеть повсюду. Такая верность всемогущего диктатора своим

скромным крестьянским истокам была очень по душе Соединенным Штатам Америки, поддержавшим Альмайю в его восхождении на вершину власти. Что бы ни говорили там про генерала, но он ни разу не предал своих народных корней; и то, что этот индеец-кухон оказался во главе целой страны, было убедительным доказательством торжества демократии, наступившего после двадцатилетнего пребывания у власти латифундистов испанского происхождения, моривших народ на оловянных рудниках и высасывавших из него все соки. После революции Альмайю каждый крестьянин знал, что при определенном везении, возможно, и ему однажды удастся свалить диктатора и занять его место. Таким образом, можно было действительно сказать, что Альмайю воплощает собой надежды униженных и оскорбленных. Шофер почувствовал, как его охватывает новый прилив восторга и восхищения хозяином. Он был ему безгранично предан. Впрочем, ему повезло оказаться в его ближайшем окружении, и он не гнушался тайных контактов с врагами генерала, обещавших ему погоны полковника в случае, если революция перейдет в новую, еще более демократическую фазу.

– Да, вы можете называть меня борцом. Но слово «чемпион» вряд ли подойдет для бесконечного поединка, где не бывает последнего раунда, – говорил доктор Хорват, отвечая на любезную реплику своего попутчика-датчанина. – Скажем так, я человек, сражающийся со злом. На самом деле это поединок с дьяволом, и если вы окажете мне любезность и выслушаете меня, то поймете, что дьявол для меня – это не эффектная фигура речи. Это живой, грозный враг, силу и ловкость которого нельзя недооценивать. Я что-то вроде боксера, который всегда начеку и следит за малейшим движением противника.

Паяц, сидевший на коленях у чревоутопателя, не сводил с проповедника стеклянных глаз, в насмешливом блеске которых сконцентрировались и застыли, казалось, все бесстыдство, весь цинизм этого мира.

– Нокаут в первом раунде, – проговорила кукла своим тягучим, надтреснутым голоском. – Могу кинуть тебе подсказку, Агги. Хочешь, скажу, на кого лучше ставить в этом матче? Десять против одного?

Доктор Хорват был готов уже произнести несколько резких слов в адрес шута, предложить ему приберечь свои трюки для перепивших клиентов ночных заведений, где они явно должны пользоваться успехом, но из чисто христианского милосердия удержался; в конце концов, ему и самому было известно, как трудно профессионалу избежать автоматизма, становящегося его второй натурой; он и сам не избежал в этом отношении некой деформации, и вынужден был подчас прилагать определенные усилия, чтобы не пускаться по любому поводу в пространные разглагольствования на темы Священного Писания.

Автомобильный кортеж подъехал к кафе, стоявшему немного в стороне от дороги, – невзрачному, обшарпанному заведению из самана и досок, построенному там, где каменистая, поросшая кактусами долина начинает карабкаться вверх, к горам и вулканическим скалам. На стенах строения еще можно было прочесть полустершееся слово «Кока-кола», единственное, что внушало в этой пустыне хоть какой-то оптимизм. Путешественники уже проехали мимо, когда шофер вдруг остановил машину, да так резко, что доктор Хорват уткнулся носом в стекло. Придя в себя, он увидел, что «кадиллаки» окружены солдатами на мотоциклах со все еще тарахтевшими моторами, джипы же тем временем выстроились полукругом поперек и по обеим сторонам дороги. Из одного из внедорожников вышел офицер с рацией в руках и направился к ним, расстегивая на ходу кобуру револьвера. Проповедник с некоторым удивлением заметил, что все солдаты были вооружены автоматами, стволы которых были направлены на них.

Глава V

«Кафе», если только можно было назвать так этот сарай, не заслуживавший даже названия «Пулькерия»⁸, написанного от руки на деревянной доске, прибитой над дверью, было таким грязным и так явно напрашивалось, чтобы его в ближайшее время отправили на свалку, что доктор Хорват очень удивился, увидев на стойке бара новенький телефонный аппарат. В заведении было пусто, но через окно в глубине зала проповедник увидел мужчину и женщину, которые со всех ног улепетывали в сторону скал, возвышавшихся у подножия горы. Мужчина – индеец – то и дело оборачивался, чтобы еще и еще раз взглянуть обезумевшим от страха взглядом на кафе и окружавшую его солдатню, как будто боясь получить в спину автоматную очередь; женщина была босиком, она все время спотыкалась и дважды падала в панике, но тут же вскакивала на ноги, чтобы бежать дальше; она что-то несла в руках, должно быть младенца, судя по тому, как по-матерински прижимала она к груди этот заскорузлый тряпичный сверток.

Такое поведение показалось крайне странным доктору Хорвату, который и без того был оскорблен возмутительными действиями солдат, столь резко, если не сказать грубо, остановивших кортеж посреди дороги и без объяснений затолкавших их всех внутрь кафе. Солдаты были явно не в себе и, несомненно, не знали, с кем имеют дело: только этим и можно было объяснить их опасное манипулирование оружием, при помощи которого они «пригласили» пассажиров пройти в кафе. Командовавший отрядом офицер, коренастый, даже маленький, но крепкого телосложения, с длинными не по росту руками, которые придавали ему сходство с гориллой, с мрачным и неприятным выражением на смуглом, изрытом оспинами лице, проявлял, однако, даже некоторую вежливость, пытаясь успокоить пассажиров в ответ на их возмущенные протесты. Он лишь исполняет приказ, который только что получил по рации, пояснил он, зовут его Гарсия, капитан Гарсия из службы армейской безопасности, и он счастлив поздравить их с прибытием в страну; он надеется, что их путешествие было приятным. Он просил извинить его солдат, им нечасто приходится иметь дело с такими высокими гостями, к тому же все они немного нервничают из-за «событий». В ответ на посыпавшиеся со всех сторон вопросы он лишь поднял обе руки, призывая к спокойствию, но пояснять что-либо относительно этих «событий» категорически отказался. Ему просто приказали временно остановить кортеж; скоро он должен получить новые инструкции. Он попросил их немного потерпеть; приказ поступит с минуты на минуту, а пока... Он мрачно посмотрел на свой джип, где солдат в наушниках без остановки произносил в микрофон позывные. Пока то ли вышел из строя их приемник, то ли, что более вероятно, испортился передатчик главного штаба, который неожиданно замолчал. Так что он взял на себя смелость привезти их сюда, чтобы не оставлять посреди дороги; и теперь он просит их подождать и выпить чего-нибудь в баре за счет правительства, пока он попытается связаться с начальством по телефону, раз уж рация вышла из строя. Ему очень жаль, что они теряют из-за него драгоценное время; но это просто техническая неувязка; однако, если что-то в этой стране и работает исправно (что вызывает у всех обоснованную гордость), так это телефон, недавно проведенный одной американской компанией; связь автоматическая, и он немедленно воспользуется ею, чтобы получить дальнейшие инструкции. Вслед за этим он прошел за стойку и налил себе большую рюмку густого желтого ликера, которую тут же осушил. Затем, с крайне важным и довольным видом, словно решая какую-то чрезвычайно тонкую техническую задачу, он завладел телефоном и толстым пальцем с грязным ногтем набрал номер.

⁸ *Исп. pulquería* – таверна, кабачок, где торгуют пульке – алкогольным напитком из сока молодой агавы.

– Ничего не понимаю, – сказал проповедник соседу – невысокому мужчине с проседью в темных волосах, тщательно подкрашенными усами и галстуком-бабочкой в синий горошек, который облокотился о стойку рядом с ним.

– Должно быть, где-то дальше на дороге произошло нечто такое, чего нам не следует видеть, – сказал Чарли Кан. – Между нами и столицей находится университет, и, возможно, студенты устроили там демонстрацию, что всегда смущает власти, тем более что полиция в таких случаях действует крайне грубо. Они не любят, чтобы при этом присутствовали иностранцы. Это всегда производит дурное впечатление. Появятся отголоски в американских газетах. Знаете ли, несмотря на все наши старания, сказать с уверенностью, что это – демократическая страна, мы не можем.

– Это-то я знаю, – ответил проповедник.

Дверь кафе была открыта, и доктор Хорват увидел, как перед заведением останавливается еще один «Кадиллак», по бокам которого ехали шесть вооруженных до зубов мотоциклистов, что, похоже, указывало на важность перемещавшейся в нем персоны. На солдатах были германские каски и черные мундиры; выделявшаяся на шлемах и рукавах красная молния странным образом напоминала эмблему гитлеровской СС.

– Это не простая полиция, а особые части госбезопасности, – сказал Чарли Кан, и проповедник заметил, что его собеседнику не по себе. – Они подчиняются лично генералу Альмайю. Что-то такое назревает, можете мне поверить. Я знаю эту страну.

Из «Кадиллака» вышла молодая женщина, и после недолгой, но бурной перепалки с одним из солдат тот в конце концов схватил ее под локоть и подтолкнул к входу в кафе. Она остановилась в дверях, выбросила наружу сигарету и сказала солдату по-испански несколько слов явно нелестного свойства, поскольку тот угрожающе поднял автомат, но, впрочем, тут же опустил его. Женщина пожалала плечами и потеряла к нему всякий интерес. С первого взгляда на нее доктор Хорват решил, что она американка. У нее был явно англо-саксонский тип лица с выражением той искренней, открытой доброжелательности, которая немедленно ассоциировалась у него с американским жилищем, белокуроыми юношами с подстриженными ежиком волосами и университетскими спортивными площадками. Казалось, что незнакомка и сама только что прибыла из какого-нибудь «кампуса», по крайней мере, таково было первое впечатление, которое она произвела на него. Доктор уже собрался было приветливо ей улыбнуться, но, приглядевшись получше, заметил, что она пьяна и держится за стену, чтобы не упасть. Она задержалась на несколько мгновений в дверях, опершись рукой о стену и с вызовом разглядывая присутствовавших, затем нарочито уверенным шагом подошла к одному из столиков, села и закурила сигарету. Она была красива, с тонкими чертами, гармоничность которых говорила скорее о некоторой творческой преднамеренности, чем об игре природы. Восхитительный пухлый рот своими очертаниями свидетельствовал о странной уязвимости: он был беззащитный, как у ребенка. Чуть вздернутый нос и каштановые со светлым отблеском волосы придавали лицу мягкое, нежное выражение. Она достала из кармана очки и принялась, не скрываясь, разглядывать присутствовавших одного за другим, затем снова убрала их в карман. Ей было не больше двадцати четырех лет, и вид этой юной американки, сидевшей здесь закинув ногу на ногу и курившей в состоянии явного опьянения, глубоко опечалил доктора Хорвата. Он решил поговорить с ней при первом же удобном случае, расспросить ее о родных и об обстоятельствах, в силу которых она оказалась в таком месте и в таком состоянии.

Капитан Гарсия, похоже, прекрасно знал ее. Он взял бутылку и стакан, покинул барную стойку и, подойдя к ее столику, сказал девушке несколько слов по-испански с явным и весьма неожиданным уважением. Та, не ответив, пожалала плечами, но бутылку взяла и наполнила стакан до уровня, который заставил доктора Хорвата нахмуриться. Похоже, она была привычна к пультке и маленькими глотками выпила сразу половину стакана, затем снова окинула всех

равнодушным взглядом, явно скучая. Тут только, кажется, она заметила Чарли Кана и подняла руку в дружески-фамильярном жесте.

– *Hello there*⁹, – сказала она. – А вы какого черта тут делаете?

Чарли Кан подошел к ее столику и тихо сказал ей что-то.

– Понятия не имею, старина, – равнодушно ответила молодая женщина. – Думаю, ничего особенного, но в любом случае, вы же сами знаете, пока у Хосе есть армия... Скорей всего произошла какая-то заварушка и Хосе послал своих людей защитить нас, что они и делают со своей обычной неуклюжестью. Я поехала на уикенд к друзьям, у них поместье в Бастухос, и тут явились эти грязные олухи и велели мне ехать с ними. Я даже вещи не успела собрать. Сто раз говорила Хосе, чтобы он отправил своих молодчиков на стажировку в Штаты, там их научили бы хорошим манерам, но вы же его знаете. Ему нравится окружать себя всякими скотами. Помните его любимую поговорку? «Не предают только собаки». Ну, он скоро все устроит...

Чарли Кан искоса взглянул на капитана Гарсию, который в этот самый момент занимался телефоном. Тот был одним из доверенных лиц Хосе Альмайо и отвечал за личную безопасность диктатора. Его присутствие здесь, вдали от президентского дворца, вероятно, должно было указывать на то, что в столице не происходит ничего особенного. Театральный агент отошел от столика молодой женщины и вернулся к доктору Хорвату, чтобы подслушать, о чем говорит с начальством капитан. Гарсия слушал указания, и Чарли Кан заметил, как безграничное изумление постепенно сменялось на его лице настоящим страхом.

– Кто эта девушка? – спросил проповедник.

Чарли Кан рассеянно взглянул в сторону столика; он весь напрягся, чтобы расслышать голос на другом конце провода.

– Это... невеста генерала Альмайо.

Слово «невеста» было произнесено после короткого колебания, явно без твердой уверенности, и доктор Хорват понял, что Кан нарочно не сказал «любовница» из уважения к его сану. Он был глубоко угнетен этим.

– Она американка? – спросил он наконец, со слабой надеждой получить утешительный, то есть отрицательный ответ.

– Американка, – ответил Чарли Кан.

Он слушал, что капитан Гарсия говорит кому-то на другом конце провода.

– Прошу прощения, – говорил офицер. – Мне кажется, я неверно понял. Вы не повторите еще раз? Да, конечно, господин полковник, но я все же хотел бы, чтобы вы повторили это еще раз. Я не могу позволить себе допустить такую ошибку на своем уровне.

Какое-то время он молчал с застывшим лицом, все время сглатывая. Внезапно глаза у него буквально полезли на лоб.

– Расстреляны? Вы точно сказали, что все они должны быть немедленно расстреляны?

– Мой испанский оставляет желать лучшего, – говорил в это время своему соседу доктор Хорват, но тот вдруг словно окаменел, а лицо его начало приобретать зеленоватый оттенок.

В своем стремлении избежать малейшего недопонимания капитан Гарсия говорил все громче, его услышала девушка и без всякого беспокойства в голосе сказала:

– Что там еще такое?

– Вы сказали: все немедленно должны быть расстреляны? – еще раз повторил капитан Гарсия.

Он прекрасно знал голос полковника Моралеса, но хотел убедиться, что его командир не пьян в стельку.

– Да, расстрелять всех.

– Простите, господин полковник, но среди них есть американские граждане.

⁹ Эй, привет! (*англ.*).

– Слушайте, Гарсия, делайте что вам говорят.

– А что делать с телами?

– Захороните в горах без опознавательных знаков. Только запомните место, чтобы тела потом можно было найти. Понятно?

– Так точно, господин полковник, понятно.

Он еще раз сглотнул и покосился в сторону индианки с черными гагатовыми волосами, которая сидела у столика и жевала листья масталы, положив на колени элегантную американскую сумку.

– А что мне делать с матерью генерала? – спросил он, почтительно понизив голос. – Вы ведь знаете, что она тоже здесь?

– Погодите минутку.

Все в кафе, даже кукла чревоушателя, сидевшая на коленях у своего хозяина, не сводили с капитана Гарсии глаз. Адвокат, довольно хорошо изъяснявшийся на испанском, – свои самые удачные дела он вел как раз в Центральной Америке, – стал серым, как пепел. Несколько мгновений Чарли Кан еще надеялся, что все это – очередной розыгрыш, на которые Хосе Альмайю был большой мастер, но ему так и не удалось убедить себя в этом. Достаточно было взглянуть на Гарсию, чтобы понять: это не шутка. Он достал платок и вытер струившийся по лицу холодный пот.

Испанский язык доктора Хорвата внезапно значительно улучшился, но он прекрасно знал, что все услышанное им из разговора абсолютно невозможно. Конечно же, он плохо понял. Нет у него способностей к иностранным языкам.

Капитан снова слушал.

– Да, господин полковник?

– *Генерал Альмайю говорит, что его мать вы тоже можете расстрелять.*

Гарсия снял фуражку и вытер рукавом лоб. Свободной рукой он схватил одну из стоявших вдоль стены бутылок и налил себе стакан, продолжая разговаривать все тем же почтительным тоном.

– Прошу прощения, господин полковник, но я желал бы, чтобы столь важный приказ был подтвержден самим генералом.

– Делайте что вам говорят. Генералу некогда, у него сейчас есть дела поважнее.

Капитан глубоко вздохнул. Он снова взглянул в сторону старухи, жевавшей свою *масталу*, схватил стакан и осушил его одним махом.

– Дела поважнее, господин полковник?

– Да.

Гарсия вытер рукавом рот и лицо, на котором почтительное выражение сочеталось с паническим страхом.

– Господин полковник, если мне приказано расстрелять матушку генерала, я хотел бы услышать этот приказ от него самого.

– Генерал разговаривает по другой линии.

Казалось, что Гарсия вот-вот заплачет.

– Хорошо, отлично. С матушкой генерала все понятно, раз он занят и говорит по другой линии. Я выполню приказание. Я расстреляю старуху. В конце концов, это же его матушка, в чем проблема? Но американские граждане?

– Вы поставите их к стенке и немедленно расстреляете. Вам понятно, Гарсия? Немедленно.

– Я сделаю это, господин полковник, можете не беспокоиться, – заорал капитан Гарсия. – Я всегда выполняю приказы, еще ни разу не оплошал, вам это известно. Но расстрелять собственную мамашу – это одно, а поставить к стенке американских граждан – совсем другое. Это серьезно, и перед исполнением такого приказа государственной важности, я хочу сказать,

такого политического акта – расстрела граждан Соединенных Штатов Америки, – я хотел бы услышать личное указание генерала Альмайо. Простите, господин полковник, что я вот так прямо с вами разговариваю: я расстреляю кого угодно, но мне не нужны потом проблемы. Я не хочу, чтобы потом стали говорить об ошибке, совершенной на нижнем уровне. Я требую личного указания генерала.

– Гарсия, у вас будут неприятности.

– Они у меня уже есть. Я же не прошу ничего особенного. Мне хватит одного только слова генерала – и всё.

– Ну ладно, идиот! Но генерал говорит сейчас по другой линии. Ждите.

Гарсия ждал, с такой силой прижав трубку к уху, что оно побелело. Другой рукой он снова схватился за бутылку и поднес ее к губам.

– Лучшая телефонная сеть за пределами Соединенных Штатов – вот чего мы добились, – произнесла молодая женщина пьяным голосом, который никак не вязался с ее тонким лицом и глазами, смотревшими теперь с отчаянием. – Я знаю, о чем говорю. Эта телефонная сеть – моя работа. Это я заставила его ее проложить. Я заставила его построить дороги, и концертный зал, и национальную библиотеку, каких нет даже в Бразилии... И вот... вот...

Голос ее осекся. Она смотрела на доктора Хорвата полными слез глазами, как будто обращаясь лично к нему.

– Знаете, он и правда страшный мерзавец.

Теперь они все стояли среди полной тишины. Даже кукла чревовещателя, казалось, утратила дар речи и не сводила застывших глаз с капитана Гарсии. Тут-то доктора Хорвата и прорвало. Реакция спутников показала ему, что он правильно понял то, что услышал, а то, что он услышал, предвещало одно из самых чудовищных преступлений всех времен, быть пассивной, добровольной жертвой которого он решительно отказывался. Он принялся гневно возмущаться – так громко, что капитан Гарсия отпрянул и замахал на него руками.

– Тише, тише, – сказал он. – Я ничего не слышу.

Негодование всегда приводило доктора Хорвата в наилучшую форму. Выражения «международное право», «преступление против человечества», «неслыханное зверство», «вся Америка», «ужасающие репрессии» и все в таком духе полились из его уст сплошным потоком, и, что случалось крайне редко, он даже допустил досадную тавтологию, говоря о «бесстыдной наглости», в то время как капитан Гарсия, морщась, отмахивался от него как от мухи. Паец Оле Йенсен, которого чревовещатель нежно сжимал в руках, повернул голову к хозяину.

– У этого человека определенно есть талант, – сказал он. – Я уверен, что он пользовался бы успехом у публики.

Снова повернув голову, он нацелил свою сигару на Чарли Кана.

– Вам следовало бы заключить с ним контракт, Чарли, – заключил он.

Капитан Гарсия с перекошенным лицом и отвисшей синей челюстью, обнажившей желтые зубы, всё ждал, огромной лапой прижимая трубку к уху и окидывая тревожным взглядом «высоких гостей» диктатора. Он прекрасно отдавал себе отчет в исторической важности предстоящего события и был во власти противоречивых чувств: его обуревали восторг и патриотическая гордость, но в то же время он опасался непредсказуемых последствий. Впервые за всю историю страны должны были быть расстреляны американские граждане. Не просто убиты, как это уже случалось, когда страна оказывалась во власти анархии и на дорогах становилось небезопасно, а расстреляны официально, казнены по всем правилам, по приказу сверху. В этом было, конечно, нечто героическое, это было славное деяние, благодаря которому он, никому не известный капитан, мог стать выдающейся личностью, прославиться на весь мир. Но все это могло оказаться и неудачной попыткой государственного переворота, организаторы которого собирались таким актом показать странам третьего мира, а также прокубинским и прокитайским силам свою независимость от американского империализма, а потом, если всё обер-

нется плохо, как в Сан-Доминго, в Гватемале или Боливии, свалить всю ответственность на личную инициативу какого-нибудь нижнего чина, действовавшего на свой страх и риск в сговоре с «подрывными элементами», дабы спровоцировать разрыв отношений с Соединенными Штатами. В таком случае и сам он непременно будет расстрелян. Капитан Гарсия был на распутье: ему предстояло стать либо героем национальной независимости, либо козлом отпущения. Единственное, что он мог сделать при столь важных исторических обстоятельствах, это надраться самым беспрецедентным образом за всю историю страны. Он уже протянул было лапу к бару, чтобы взять очередную бутылку, но его внезапно остановил раздавшийся с другого конца провода голос.

Он вытянулся по стойке «мирно».

– Да, господин генерал, – сказал он. – Жду ваших приказаний.

На этот раз никаких сомнений быть не могло: это был голос самого Альмайо.

– Слушайте меня хорошенько, кретин несчастный. Расстреляйте их всех, и немедленно. Вы поняли, Гарсия? Немедленно. Тела отвезите в горы, но недалеко. Не закапывайте их, как велел вам Моралес. Я хочу, чтобы их нашли. Сверните в сторону от шоссе на несколько километров и оставьте их там, на виду. Потом приедете и доложите мне лично. Повторите.

– Слушаюсь, господин генерал, – заорал Гарсия. – Расстрелять сейчас же. Трупы оставить в горах в нескольких километрах от шоссе. Все понял, господин генерал. Да здравствует революция!

Он продолжал стоять навытяжку, пока не услышал сухой щелчок на другом конце линии. Затем с почтительным изяществом оттопырив мизинец, положил трубку. После чего вытер лоб рукавом и повернулся к пассажирам. Он и так был уже достаточно пьян, а роль, которую ему предстояло сыграть в том, что он расценивал теперь, пользуясь терминологией, употреблявшейся до сих пор оппозицией, как «первый шаг к освобождению от американского империалистического ига», лишь усиливало его опьянение и смятение, тем более что он и сам состоял на жалованье у американского военного атташе, поставляя ему время от времени кое-какую информацию из президентского дворца. Он знал также, что Альмайо и все правительство, помимо официальной помощи Соединенных Штатов, оседавшей у них в карманах, получали двадцать процентов от всех сделок, заключавшихся с американскими фирмами. Теперь-то уж эти поганые янки заплатят наконец за то, что столько времени подкупали и разлагали руководство страны. Это было логично и естественно, но он все же был ошеломлен быстротой, с какой в нем разгорелся патриотический пыл. И когда он повернулся наконец к американским империалистам, на лице его читалось безграничное изумление. Однако то, что он увидел, было столь неожиданно, что глаза у него буквально полезли на лоб.

Впереди кучки побледневших, до смерти перепуганных путешественников стоял некий белый призрак, искрящийся розовыми, желтыми и зелеными блестками, в необъятных пышных белых панталонах, в белых чулках и балетных тапочках и с густо напудренным лицом; на голове у него была белая остроконечная шапочка, в одной руке – смычок, а в другой – миниатюрная скрипочка. Капитан Гарсия, с которым уже два-три раза случались приступы белой горячки, видел обычно в этом состоянии кишачих вокруг крыс и змей, однако даже во время самых сильных припадков ничего подобного этому призрачному существу ему никогда не мерещилось. Он отскочил назад, взыв от страха.

– Что это? – отрывисто проговорил он.

А это был всего лишь юный господин Манулеско, знаменитый «виртуоз», пытавшийся спасти свою шкуру. Поняв, какая ему грозит участь, он сначала не поверил, но потом мысли его стали крутиться с бешеной скоростью, словно попавшая в ловушку мышь, и наконец на ум ему пришла такая военная хитрость. Он считал, что где-то произошла ошибка, чудовищное недоразумение, в которое с трудом можно поверить, но которое любой ценой нужно разрешить, поскольку – и он это прекрасно осознавал – оно может стоить ему жизни. Кому всерьез

могла бы прийти мысль поставить к стенке музыкального клоуна? Остальные-то вполне могут оказаться шпионами. Но он – бедный циркач, он никогда не занимался политикой, и сейчас он это докажет. Он покажет этому офицеру, кто он такой, убедит его в своей невинности. За всю историю цирка никто никогда не расстрелял ни одного клоуна, даже русские во время их октябрьской революции, даже венгры с их Белой Куном. Никто. Во всем мире к клоунам относятся с почтением. Единственный способ выпутаться из этой ситуации – затронуть в душе этой скотины в военной форме некую струну, отвечающую за чувство святого, обезоружить его, представ пред ним в виде самого безобидного существа на свете, единственного, кого бьющееся в конвульсиях человечество ни разу не тронуло.

Он схватил саквояж, на цыпочках пробрался в помещение в глубине кафе, обозначенное надписью «*Caballeros*»¹⁰ и там поспешно натянул свой цирковой костюм и дрожащей рукой заgrimировал перекошенное от страха лицо. И вот, подняв вверх крошечный смычок и миниатюрную скрипочку, он встал перед этим людоедом и улыбнулся обезоруживающей улыбкой (по крайней мере, он постарался, чтобы она выглядела именно так).

– Посмотрите, господин генерал, взгляните на меня! Я – музыкальный клоун, только и всего. Я никогда не занимался политикой. За что меня расстреливать? Подумайте о своих детях, господин генерал! Им так понравилось бы мое выступление. Они бы смеялись, ах, как они бы смеялись! Они были бы счастливы, господин генерал. Я дам вам бесплатные билеты. Хотите, я прямо сейчас сыграю вам? Знаете, я ведь играю, стоя на голове. Смотрите, господин генерал, смотрите!

Он сбросил на пол остроконечную шапочку, с поистине невероятной быстротой и гибкостью, одним движением, которое, казалось, не стоило ему ни малейшего усилия, вдруг встал на голову перед окончательно раскисшим капитаном и в следующее мгновение, удерживая идеальное равновесие, взял на своей скрипке первые аккорды сонаты Сезара Франка, таким образом демонстрируя в этих драматических обстоятельствах удивительные человеческие возможности.

Выступление господина Манулеско развеяло кошмарные чары, в которые были погружены его спутники.

Они окружили капитана Гарсию и заговорили все разом.

– Мы – всемирно известные артисты, – вопил мсье Антуан. – Вам в жизни не расхлебать этой каши, тупая скотина! Вы и представить себе не можете, что поднимется в мире, если вы нас только тронете.

– Немедленно соедините меня с послем Соединенных Штатов! – рычал доктор Хорват. – Это вам даром не пройдет! Вот увидите! Я духовное лицо, мое имя известно во всем мире, я знаменитый доктор Хорват, представитель Евангелической церкви, если вы только посмеете расстрелять американских граждан, мы забросаем вас бомбами, камня на камне не оставим, пока в вашей проклятой стране не научатся уважать правила международной морали и просто соблюдать приличия!

– Если вы посмеете расстрелять нас, я сделаю все, чтобы вас повесили! – вопил мистер Шелдон с довольно странной для адвоката нелогичностью. – Послушайте, Гарсия, дайте мне поговорить с Хосе Альмайо, – говорил Чарли Кан. – Он, должно быть, пьян в стельку. Или у него очередной приступ депрессии и он умирает от скуки. Надо помешать ему совершить эту глупость. Надеюсь, вы понимаете, что, когда он придет в себя, то все свалит на вас? К тому же он ждет меня. У меня для него важные новости. Поверьте, это действительно очень важно. Я хорошо его знаю: это всё изменит.

Молодой кубинец молча стоял в стороне от остальных с умоляющим и в то же время покорным видом, несомненно осознавая свою незначительность и понимая, сколь скромное

¹⁰ Здесь: Мужчины (исп.).

место занимает он среди всех этих цирковых и эстрадных знаменитостей. Американочка же даже не подняла головы, склонившись над стаканом, и, опершись локтями о стол, рисовала что-то на мраморной столешнице, покрытой густым слоем пыли. В тот самый момент, когда доктор Хорват достиг апогея громогласных обличений, она пожала плечами, повернулась к проповеднику и, не расплетая скрещенных ног, угрюмо проговорила:

– К чему все это? Сразу видно, что вы не знаете этой страны.

После чего, потеряв, похоже, всякий интерес к происходившему, она взглянула на старую индианку, улыбнулась ей и, взяв свой стакан, пошла к ее столику и уселась рядом.

– Вы помните меня, сеньора Альмайо? – спросила она по-испански, очень бегло, но с сильным американским акцентом. – Несколько месяцев назад я была у вас вместе с Хосе. Я его невеста, помните?

Старуха смотрела прямо перед собой, продолжая невозмутимо жевать и улыбаясь с отсутствующим и в то же время довольным видом. Она сидела, раздвинув ноги, и крепко прижимала к животу свою шикарную сумку. Она была где-то далеко-далеко, пребывая в состоянии блаженного ступора, вызванного действием «звезд», как называли здесь листья *масталы*, обладающие гораздо более сильным эффектом, чем *кока*, употребляющаяся в тех же целях индейцами Анд. Эти листья провоцируют такие же мистические видения, какие вызывают «волшебные грибы», использующиеся в Мексике во время религиозных церемоний. Молодая женщина тронула ее за руку, затем запустила пальцы в приоткрытую сумку, вытащила оттуда горсть листьев и посмотрела на них.

– Господи, – вздохнула она. – Что за сложная, непонятная страна! Как здесь трудно! Но я обожаю ее. Да, я обожаю эту страну, и ее люди прекрасно это знают. Я много сделала для них, все, что могла...

Она бросила листья обратно в сумку и отпила глоток пульке.

– Вот увидите, когда-нибудь моим именем назовут улицу, а может быть, мне поставят на площади Революции памятник, как Эвите Перон. Обожаю эту страну и ее народ. Хотя, если честно, все они еще те сволочи! Так вы не помните меня? Это же я подарила вам эту сумку. Я купила ее на Пятой авеню.

Она тихо заплакала, закрыв глаза руками.

Капитан Гарсия повелительным жестом воздел руки. Несмотря на долгие годы службы генералу Альмайо в особых силах безопасности, он не успел привыкнуть к этой рутине и всякий раз, перед тем как отдать приказ расстрельной команде, испытывал волнующее чувство важности происходящего. Нет, он не был садистом и ему не нравилось убивать людей, но в это мгновение тишины перед последней командой, в этот последний миг неотвратимости и высшей целесообразности он внезапно ощущал себя неслыханно богатым. Он не знал точно, что это было за ощущение, но он как будто вдруг становился наследником чужих жизней, обладателем всех этих земель, солнца, равнины, деревьев, вулканов, самого воздуха. Он даже испытывал некую симпатию по отношению к жертвам, выстроившимся в ожидании своей очереди перед расстрельной командой: ведь это их наследниками он в некотором роде становился. Его отец и дед были грабителями, бандитами с большой дороги, они убивали людей, чтобы обчистить путнику карманы или завладеть его лошадью. Однако сам он, капитан Гарсия, на такие мелочи не разменивался: отправляя людей на тот свет, он отнимал у них целый мир. Когда он выкрикивал последнюю команду – с никогда не ослабевающим воодушевлением, с осознанием торжественности и неотвратимости происходящего, отчего кровь начинала быстрее пульсировать в жилах, – в какой-то миг, вместе с залпом расстрельной команды, на него вдруг обрушивалась чужая жизнь, наполняя грудь, словно вино – пьянящее, крепкое и горячее.

Он строгим взглядом окинул врагов народа. Эти люди явно не обладали никаким чувством великого и демонстрировали полное отсутствие достоинства в преддверии церемонии, во время которой любой батрак держался бы на их месте с подобающей торжественностью.

– Вы все будете расстреляны, – объявил он им.

– Я не согласен! – возопил проповедник.

Капитан Гарсия без лишних слов открыл кобуру и достал оттуда револьвер – кольт, какими пользуются американские полицейские. Молодая американка подошла к доктору Хорвату и примиряюще коснулась его руки.

– Послушайте, надо попытаться понять их и проявить терпимость, – сказала она чуть свысока, словно школьная учительница, разговаривающая с учеником. – Эта страна совсем другая, не такая, как наша. Нам не удалось еще их воспитать, мы даже еще не попытались всерьез за это взяться. Разве что «Корпус Мира». Я сама приехала сюда как его представитель. Но этого правда мало. Хотя я лично сделала все, что могла...

Капитан Гарсия вышел из-за стойки бара и слегка поклонился. Он решил показать хорошие манеры и учтивость. В конце концов, в жилах у него течет испанская кровь.

– Американские граждане в первую очередь, – сказал он, желая, несмотря на несколько затуманенный алкоголем разум, до конца соблюсти традиционные отношения добрососедства между государствами Американского континента.

Но эти гринго явно ни черта не смыслили в этикете. Они снова принялись вопить что было мочи, и капитан Гарсия, на этот раз глубоко оскорбленный таким неуважением к обычаям, сложившимся в ходе всех революций испанского происхождения и касавшимся взаимоотношений между казнимыми и исполнителями казни, и сочтя, кроме того, что у него украли торжественность момента, на которую он имел полное право, почувствовал возмущение и неприязнь. Напрасно он метал бисер перед этими свиньями, напрасно расточал на них свои прекрасные испанские манеры. Он отдал несколько коротких приказов, и солдаты начали прикладами подталкивать «высоких гостей» к выходу. Несмотря на несколько ощутимых ударов по ребрам, Агги Ольсен продолжал сжимать в руках своего паяца. В суматохе кукла выронила сигару, однако чревовещатель подобрал ее и вставил своему духовному сыну в рот, чтобы тот не стучал зубами.

– Спасибо, мой хороший, – с благодарностью проговорила кукла. – Что ж, идем, наш выход! Такого нельзя пропустить. Я всегда знал, что ты плохо кончишь, Агги. Впрочем, я рад, что наконец-то отделаюсь от тебя. Терпеть не могу чревовещателей.

Мсье Антуан попытался было сопротивляться, но вскоре вместе с остальными оказался за дверью, на залитом солнцем дворе позади кафе, грязно-белые стены которого, казалось, были созданы специально для подобных церемоний. Француз показал бесспорный пример прекрасного поведения перед лицом смерти, одновременно подав сигнал остальным.

– Дикарь несчастный! – вскричал он. – Вы еще услышите обо мне. Больше я вам ничего не скажу. Я покажу вам, как умирает настоящий артист!

Он повернулся к остальным.

– Господа, споете же нашу лебединую песнь. Пришел час нашего последнего и прекраснейшего выступления. И никакой грязный легавый не помешает великому артисту до конца сохранить верность своему таланту... Да здравствует Де Голль! Да здравствует Франция!

Молодой кубинец плакал, безропотно, с полной покорностью гражданина страны, где расстрелы Батисты благополучно сменились расстрелами Кастро. Конечно, он был необразован, но какие-то начатки исторических знаний были им уже бесспорно усвоены. Он знал, что тут ничего не поделаешь, что остается только плакать, что исторические процессы необратимы. Доктор Хорват, хотя его ум и блуждал в подобии густого тумана, счел, тем не менее, что как христианин и как американец просто обязан утешить этого юношу и показать ему пример мужества и достоинства; думать о себе самом ему не хотелось; ему вдруг пришло в голову, что он ничего не знает об этом молодом человеке, и он испытал жгучую братскую потребность проявить к нему интерес, перед тем как оба они падут под градом варварских пуль. Он дружески коснулся его плеча.

– Ну же, ну, – сказал он ему. – Вознесите свои мысли к Господу.

Он обернулся к Чарли Кану, солдаты тем временем грубо строили их у стены кафе.

– Кто этот бедный мальчик?

Чарли Кан давно уже перешел ту грань, когда еще можно заботиться о соблюдении приличий или думать о чьих-то чувствах.

– Это знаменитый кубинский супермен.

Проповеднику такой ответ показался странным.

– Супермен?

– Да, он может заниматься сексом невероятное количество раз подряд, практически без передышки, – машинально ответил театральный агент хриплым, срывающимся от отчаяния голосом. – Он, так сказать, всегда готов. Знаете, такие сексуальные феномены очень популярны в порнобизнесе.

Доктор Хорват пришел в такой ужас, что поскорее отвернулся от кубинского монстра и почти с облегчением обратил свой взор на расстрельную команду. Он заглянул на самое дно человеческой гнусности, и теперь, когда земля вот-вот отверзнется у него под ногами, он сможет наконец вкусить чистоты. Каких бы ошибок ни совершил он в этой жизни, в одном он не ошибался никогда: дьявол действительно существует, теперь он получил тому материальное доказательство. Ведь это он поставил его, доктора, к стенке – пусть даже его рука приобрела вид волосатой лапы капитана Гарсии.

Он словно опьянел от полученных ударов, да, именно так, опьянел – как боксер. Противник загнал его в угол, прижал к веревкам и молотил с такой силой, что в глазах у него помутилось и все происходившее вокруг него, все, что он еще видел, начинало утрачивать реальность. Из всех сил старался он не упасть, не рухнуть в ногам врага, принимая удары с высоко поднятой головой. Он увидел, как капитан Гарсия поднял пистолет. Увидел, как солдаты вскидывают винтовки. Он взял за руку стоявшую рядом с ним молодую американку и попытался сказать ей что-то утешительное; повернув к ней голову, он увидел, как она жует резинку, и услышал ее голос:

– Он, правда, не виноват. Ему заморочили голову эти испанские священники, когда он еще был маленьким. Они сделали его по-настоящему верующим... Я только жалею, что не сделала больше для этой несчастной страны. Мне все равно, жить или умереть, хотя это и не слишком приятно. Господи, какая же я неудачница!

– Смотрите, как умирает великий французский артист, негодяи!

Доктор Хорват обратил оторопелый и в то же время возмущенный взор на мсье Антуана и увидел, что тот с благородным и патриотичным голлистским задором жонглирует перед лицом смерти. Прекраснейшие страницы истории Франции с бешеной скоростью пронеслись в мозгу и в сердце знаменитого француза. Солдаты ждали команды, а доктор Хорват тем временем окидывал беглым взглядом товарищей по несчастью. Он увидел мать генерала Альмайю, которая, по-прежнему сжимая в руках американскую сумку, жевала свои листья и смотрела на солдат со счастливой улыбкой: либо это от наркотика она пришла в состояние эйфории, вывести из которого ее была не в силах никакая действительность, либо она вообразила, что все происходящее – официальная церемония, устроенная в честь ее приезда сыном. Он увидел, как адвокат мистер Шелдон с вызовом глотает три таблетки успокоительного и, учитывая, что им оставалось жить всего несколько секунд, этот поступок показался доктору Хорвату таким оптимистичным, таким по-американски полным веры в будущее и торжество добра и справедливости, что он горделиво вскинул голову, тряхнув вспыхнувшей на солнце светлой шевелюрой, и почувствовал себя странно уверенно и спокойно, как будто проглоченное его соотечественником лекарство каким-то чудом братской любви подействовало и на него. Взгляд его перешел дальше, на господина Манулеско в его сверкающем блестками клоунском наряде, который вместе с присутствовавшими здесь знаменитыми артистами мужественно смотрел в

лицо смерти, наигрывая на крошечной цирковой скрипочке еврейскую мелодию с бессарабских просторов и как бы демонстрируя таким образом несокрушимую веру в торжество культуры над варварством. Он услышал, как капитан Гарсия выкрикивает приказ... Встретившись взглядом с паяцем Оле Йенсеном, которого чревоушатель не выпускал из рук, он услышал его скрипучий насмешливый голосок:

– Нокаут в первом раунде, проповедник, он оказался сильнее вас. Что я и говорил...

Судорожным усилием он попытался проснуться, потому что все это могло быть только кошмарным сном. Немыслимо, чтобы американец, служитель Господа и добра, мог так закончить свои дни: пристреленным в дорожной пыли, в какой-то слабо развитой стране, которая и существовала-то только благодаря американской помощи; он попытался вспомнить лица своих детей, их бедные белокурые головки, вознестись мыслью к Господу, без гнева, без злобы, но глаза его все перебежали с безумного француза, жонглировавшего во славу родины и во имя будущих поколений, чтобы имя его вошло в историю, на маленького музыкального клоуна с обсыпанным мукой, словно гипсовым лицом, который с вызывающим видом, характерным для его привыкшей к погромам нации, играл грустную и в то же время задорную еврейскую мелодию, как будто отвечая солдатам, нацелившим на них винтовки. И тут он снова услышал голос то ли куклы, то ли чревоушателя – он уже не знал – с характерными разочарованными нотками:

– А вообще-то, в конце концов, что такое смерть? А, Агги Ольсен? Просто отсутствие таланта!

И тогда в голову ему вдруг пришла мерзкая, ужасающе циничная мысль, что единственным из всех этих артистов, кто не исполнял свой номер, демонстрируя превосходство человека надо всем, что с ним происходит, был кубинский сексуальный гигант, и то, что это и есть его последняя мысль на грешной земле, наполнило его таким ужасом, таким чувством омерзения, что, окончательно растерявшись, побежденный, да-да, именно побежденный, ибо этому нет другого названия, поверженный гнусным противником, почти слыша его издевательский смех, доктор Хорват обратил полные слез глаза на расстрельную команду с жутким чувством, что вполне заслуживает такой участи.

Глава VI

– Это на счастье, – сказал Хосе Альмайо. – Надо, значит, надо.

Он стряхнул огромную сигару в пепельницу в форме лежащей на спине голой девицы с непомерно большим лоном, куда и отправлялись пепел, окурки и раздавленные сигары. Отношения с Кастро были разорваны два года назад, но спецслужбы по-прежнему обеспечивали контрабандную поставку гаванских сигар.

– Так надо, чтобы повезло, – сказал Хосе Альмайо. – За удачу надо платить. Такая вот она сука.

Он любил изъясняться на сленге трущоб Санта-Круса – портового города, где он когда-то получил боевое крещение. Выступая с официальными речами, он делал вид, что с трудом говорит по-испански, и обильно начинал тексты словечками кухонского языка, родственного языку майя, что, как и прилипшая к потному телу рубашка с закатанными рукавами, должно было подчеркнуть его «простонародность».

Он сидел за гигантским письменным столом под портретом Освободителя, убитого в 1927 году своими же товарищами, ставшими генералами и потерявшими терпение из-за его долголетия. Галстук от Диора был развязан, ворот рубашки расстегнут. Он курил сигару, забавляясь с любимой обезьянкой – единственным живым существом, осмеливавшимся обращаться с ним без должного уважения. Обезьян он любил. Многие считают, что в них есть что-то от человека. Однако сам он думал, что индейские народные картинки, на которых обезьяны и козлы изображаются как любимые создания бога преисподней Тапоцлана, гораздо ближе к истине.

В другом конце комнаты – тридцать метров мрамора – в просторном вольере под самый потолок порхали и щебетали птицы. Вдоль стены, напротив окон, сидели на жердочках попугаи ара и какаду, издавая время от времени пронзительные крики, особенно нервировавшие Радецки.

Сам стол имел пять метров в длину, на нем среди бумаг, коробок с сигарами и экземпляров «Плейбоя», несших на себе, казалось, отпечатки всех стаканов, которые на них ставили, выстроились в ряд семь телефонных аппаратов цвета слоновой кости. Альмайо редко пользовался телефоном и когда-то выставил их тут, на виду, чтобы производить впечатление на своих американских гостей и показывать им, что финансовая помощь Соединенных Штатов на что-то да идет, но в данный момент он сожалел, что в его резиденции слишком мало телефонных линий. Тут же на столе стояли пять бутылок спиртного, три из них были пусты. Перепить Альмайо было невозможно, в этом ему не было равных, при этом он никогда не пьянел. Напрасно Хосе налегал на бутылки, это ничего ему не давало, во всяком случае, не то, чего он добивался. Радецки никогда не видел такой невосприимчивости к алкоголю, а уж он-то перебивал в огромном количестве баров и знал немало людей, умевших пить. Он и сам был довольно силен по этой части, без этого было никак нельзя: человек из окружения Альмайо, не умевший противиться хмелю, рано или поздно обязательно чем-то да выдал бы себя в его присутствии и, потеряв над собой контроль, откровенно высказался бы по какому-либо поводу, а это могло завести его очень далеко, возможно, даже туда, откуда не возвращаются.

– Послушайте, – сказал Радецки, у которого слегка сдавило горло.

Он старался говорить отчужденно, холодно, без эмоций, без малейшего проявления сентиментальности.

– Вы можете приказать расстрелять собственную мать, – на счастье, так сказать, пусть, в этой проклятой стране это никого не тронет. Но даже такая суеверная скотина, как вы...

Во время попок Хосе разрешал собутыльникам обращаться с собой на равных.

– ...даже такая суеверная скотина, как вы, не может позволить себе роскошь расстреливать американских граждан исключительно в угоду вашему хозяину – дьяволу. Это будет конец. Действительно конец. Вы скажете мне, что Кастро расстреливал американцев, но это были не знаменитости, к тому же прибывшие в страну по официальному приглашению: речь шла о шпионах и тайных агентах.

Альмайю сдвинул брови. Тонко очерченные, какие обычно сочетаются с томным взглядом, – на этом индейском лице они свидетельствовали о наличии в жилах их обладателя латинской крови. В провинции, где он родился и вырос, считалось, что произносить вслух слово «дьявол» не к добру, карахо¹¹! Это было опасным проявлением неуважения к тому, чью грозную силу беспрестанно поминали священники-иезуиты, вот уже несколько веков пытавшиеся просветить эту страну и вытащить ее из мрака язычества. Индейцы-кухоны, даже говоря на своем диалекте, называли его всегда испанским словом «Эль Сеньор» – «господин». Это повелось, очевидно, со времен конкистадоров, когда индейцам приходилось пользоваться этим словом при обращении к любому, кто имел над ними неограниченную власть, распоряжаясь их жизнью и смертью.

– Не думаю, что вы настолько пьяны, – сказал Радецки, не скрывая охватившего его бешенства, – вы просто спятили. В данный момент вы сами себе перерезаете горло. Это ваше право, но поскольку и мое горло тоже рискует оказаться под угрозой, я считаю необходимым сказать вам это. Приказать расстрелять американских граждан в вашей нынешней ситуации это и правда значит искушать дьявола... даже если вы хотите ему угодить.

Обезьянка с особенно противным повизгиванием перескочила с плеча Альмайю на колени к Барону. Барон, про которого все знали, что от алкоголя он впадает в ступор, сидел по обыкновению очень прямо, с моноклем в глазу, его канареечный жилет под расстегнутым пиджаком в клетку «принц Уэльский» сверкал на солнце, в петлице красовался свежий цветок. В этом полном достоинства положении – так сказать, «над схваткой» – он дожидался, когда же эволюция соблаговолит наконец его догнать. Благодаря высоким устремлениям и прекрасному образованию, обеспечить которое своей элите могла некогда только аристократическая Пруссия, он намного опередил своих современников и пребывал теперь на таком уровне духовного развития, где его спутниками могли оказаться только Гёте, Ницше да, возможно, Кайзерлинг¹². Здесь же, удобно устроившись со скотчем, он ждал момента, когда каким-то революционным чудом его нагонит остальная часть рода людского. Однако оценивая должным образом первобытное состояние, в котором пребывало человечество в настоящий момент, он считал весьма маловероятным, чтобы подобное воссоединение произошло ранее, чем по прошествии нескольких тысяч световых лет. Таким образом, все, что он мог делать при нынешнем положении вещей, – это проявлять стоическую невозмутимость и соблюдать образцовую личную чистоту по крайней мере в том, что касается одежды, а также демонстрировать наиполнейшее презрение и абсолютное равнодушие ко всему, что с ним происходит, не допуская, чтобы омерзительные, недостойные звания человека ситуации, в которых он оказывался по воле обстоятельств, поколебали его спокойствие. Вот уже много лет он переходил из рук в руки: его то и дело подбирали разные личности – богачи или люди, облеченные властью, – которых бесконечно забавляло его нежелание мараться, используя человеческий язык, или вообще проявлять какие бы то ни было признаки жизни. С ним обходились по-королевски, брюки его всегда были прекрасно выглажены, а ботинки начищены до блеска. Разнообразные авантюристы и выскочки с удовольствием заводили себе эту аристократическую игрушку, ведущую свой род от крестоносцев и рыцарей Тевтонского ордена, о чем свидетельствовала родословная, впрочем, выдуманная от начала до конца, которую он всегда носил с собой в кармане.

¹¹ Испанское ругательство.

¹² Кайзерлинг, Герман Александр фон (1880–1946) – немецкий философ и писатель.

Ему достаточно было зайти в бар и посидеть там какое-то время не двигаясь, чтобы возбудить любопытство какого-нибудь грека, владельца дорогой яхты, или американского миллионера, изнывающего по «шику», и таким образом найти себе очередного покровителя. Возможно, он был единственным человеком в мире, кто жил своим презрением – и жил весьма неплохо.

Обезьянка несколько раз стукнула задом о колени Барона, а затем принялась щипать его за лицо, чтобы привлечь его внимание, и тот машинально почесал ей за ушком.

Клеветническая теория Дарвина, согласно которой человек произошел от обезьяны, всегда вызывала у Барона сомнения; достаточно задуматься о некоторых аспектах истории и современности, о ядерном оружии, газовых камерах и о Хосе Альмайю, чтобы тут же прийти к выводу, что теория эта нелепа и оскорбительна, что она представляет собой надругательство над обезьянами и в то же время дает человечеству еще одну ложную надежду. Человек не принадлежит миру животных, и ему не следует строить на этот счет никаких иллюзий. Барон пощекотал обезьянке ушко, и та поцеловала его в нос.

Диас, явно находившийся уже в состоянии самого паскудного страха и полного нервного расстройства, дрожащими губами, не останавливаясь, тараторил что-то по одному из телефонов, и в панике, очевидно, не слышал ни слова из того, что ему говорили, в то время как полковник Моралес, заместитель командующего силами безопасности – последними верными частями, оставшимися в распоряжении Альмайю, – названивал то во дворец правительства, из которого диктатор несколько часов назад перебрался в свою частную резиденцию, то начальнику Главного штаба, чья нерешительность становилась по мере развития ситуации все очевиднее.

Радецки сидел в глубоком кресле напротив стола, чуть правее середины, и разглядывал Хосе Альмайю с таким увлечением, что даже почти позабыл про, возможно, ожидавшую его самую участь. Несмотря на весь алкоголь, выпитый им в течение ночи, и на ужасное напряжение последних двух суток, лицо Хосе сохраняло поразительную молодость и свежесть и даже некоторую невинность и чистоту: была в нем этакая несокрушимая наивность, полнейшее отсутствие скептицизма, а также вера, поколебать которую ничто и никто был не в силах. В одной рубашке, в подтяжках, черные линии которых еще больше подчеркивали ширину его плеч, в распушенном галстуке, с кольцом на боку, он жевал сигару и, на первый взгляд, ничем не отличался от обычного бандита, которыми так богата история его страны. Гангстер, добившийся успеха в жизни, всегда кажется человеком исключительным, но почти всегда исключительным оказывается не сам человек, а его везучесть. Физическое воздействие, производимое личностью Альмайю на окружающих, ни в коей мере не было связано с тем положением, которое ему посчастливилось занять. Повстречайся он им в джунглях, босиком, с мачете в руке, он произвел бы такое же потрясающее, в некотором роде даже сказочное впечатление. Этот человек и правда воплощал собой нечто этакое; высокий, плотный, словно высеченный из черной вулканической породы, он являл собой подлинную эманацию этой земли – земли постоянного угнетения, крайней нищеты и суеверий, потухших вулканов и каменных богов, разбитых испанскими священниками, богов, в чьи искалеченные лица с обращенными к небу глазами крестьяне продолжали заглядывать с прежним почтением и любовью. Если целый народ может жить в одном человеке, если у столетий может быть свое лицо, если страдание способно ваять и творить, тогда Хосе Альмайю не в чем было себя упрекнуть. Давно канувшая, растворившаяся в его жилах капля крови конкистадора или похотливого монаха придавала чуточку хитрости и некоторую тонкость его чертам, словно вырубленным топором. В постоянно настороженном взгляде его серо-зеленых глаз не было ни малейшего следа цинизма, юмора или иронии, только степенное внимание и иногда нетерпение, страшное нетерпение, пожиравшее его изнутри, ибо в нем жила древнейшая мечта человеческой души.

Вот уже почти полтора года Отто Радецки был неразлучен с этим человеком, и мог сказать, что миссия, которую он сам возложил на себя, выполнена: он раскусил его и понимал

теперь, как только может понимать человек, чьи плоть и разум не были изуродованы веками мрака, гнусности и эксплуатации. В самом деле, он так хорошо знал Альмайю, что принял кое-какие меры, чтобы бежать из страны. Но теперь уже наверняка было поздно.

Обстановка начала обостряться несколько дней назад, но особой опасности, похоже, не было, поскольку Альмайя сохранял полный контроль над армией и полицией, а американская помощь шла сплошным потоком. Случаи «бандитизма» (так в прессе по-прежнему называли подстрекательства к неповиновению властям со стороны кастристов) все еще имели место в отдаленных, трудно доступных районах, но они носили единичный характер. И на этот раз на Юге страны опять взбунтовались молодые офицеры, к которым вроде бы присоединились их подчиненные, хотя сведения эти были не точны. Это была смешная попытка, совершенно в духе недавних выпускников военных училищ, чьи умы были отравлены контактами со студентами Университета Права. Еще накануне Альмайя присутствовал на заседании Правительственного совета, в ходе которого начальник Главного штаба показал ему карту точного расположения сил мятежников и частей, верных властям, а также дал честное слово, что маленький, затерянный где-то на Юге гарнизон уже окружен и в ближайшие двадцать четыре часа будет уничтожен. Авиация разбомбила две деревни, но мятежники, похоже, успели их покинуть, так что пострадало только гражданское население. Исход мятежа не внушал никаких сомнений, однако покончить с ним надо было как можно скорее, пока информация не попала в американскую прессу, что могло не понравиться Государственному Департаменту, и это в тот самый момент, когда Альмайя только что обратился туда с просьбой о новых кредитах. Наложить цензуру на агентства печати, не возбуждая при этом подозрений и не признавая, что в стране что-то происходит, было трудно, поэтому Моралес ограничился лишь организацией манифестации против «американских империалистов», во время которой его люди, так называемые студенты, уничтожили телетайпы, разгромили офисы Информационного центра США и даже, как писала столичная газета, «нарушили работу систем связи» в знак «протеста против лживых новостей, распространяемых американскими империалистами». Таким образом, рты иностранным корреспондентам заткнули, кроме того, проведенная операция позволила Альмайю прикрыть Университет и арестовать сотню настоящих студентов – главный оплот оппозиции – под тем предлогом, что они якобы представляют собой «угрозу представителям дружественной державы».

Альмайя вернулся к себе в резиденцию совершенно успокоенным и провел безмятежную ночь с двумя еще не знакомыми ему девушками. На следующий вечер он пригласил к ужину кое-кого из друзей и своего американского адвоката, который должен был проинформировать относительно состояния его дел в Соединенных Штатах. В честь гостей он организовал частное представление новой программы, которая открывалась в «Эль Сеньоре». Альмайя с нетерпением ждал этого вечера: он страстно любил всяких жонглеров, акробатов, чревовещателей, магов – всех, кто обладал необычными талантами и, казалось, не подчинялся законам природы.

Он только-только лег спать, когда на улицах началась стрельба, а телефон принялся звонить как бешеный. Восстали полицейские, а начальник полиции был кастрирован, а затем сожжен заживо. На штурм полицейских казарм были брошены Специальные силы безопасности, но они встретили отчаянное сопротивление и были вынуждены одновременно сражаться с сотнями вооруженных студентов, внезапно появившимися на крышах в желто-черных нарукавных повязках Фронта Освобождения. К трем часам ночи все полки, размещенные в столице, дрались между собой: бронетанковые части перешли на сторону мятежников с Юга, пехота же осталась верной правительству. Надо было бомбить столицу, что отдавало исход борьбы в руки авиации, а это было крайне опасно, поскольку, хотя переход генерала Санты, главнокомандующего военно-воздушными силами, на сторону прокоммунистически настроенных мятежников и выглядел маловероятным, он был очень даже способен воспользоваться сложившейся ситуацией и провести операцию в своих интересах.

Альмайю был удивлен и озадачен, однако причиной тому был вовсе не мятеж в армии: там никогда не было недостатка в алчных, честолюбивых молодых офицерах, которым надоело прозябать в безвестности, дожидаясь повышения по службе. Все это было естественно: армия для того и существует, чтобы захватывать власть, и если он поставил во главе ее своих самых верных друзей, то не потому, что уж так доверял им; просто он знал, что им никогда не договориться между собой. Откровением для него стали не офицеры, не студенты, а простой народ: крестьяне с рынков, рабочие, голытьба, те, кому нечего было ждать и кто ничего не выигрывал в этом деле. Все они обернулись против него, почти безоружные (он за этим всегда следил), выступая кто с ножом, кто с камнем, кто с мачете, а кто и вообще с пустыми руками против верных ему частей, прикрывая собственной грудью тех, кто шел за ними с ружьем или пистолетом. Это было настоящее безумие, которому нет объяснения: ведь все эти люди были его кровные братья, в нем, в его «кадиллаках», в его могуществе и жестокости они всегда видели воплощение собственной мечты. Он вернул им надежду, показал, что кто-то такой же, как они, может иметь самых красивых женщин, самые большие дворцы, самые большие машины; он помогал им выжить. Конечно, им жилось не лучше, чем раньше, но благодаря ему им стало лучше мечтаться: он открыл их мечтам двери будущего. И тем не менее эти подонки теперь поголовно выступали против него, проявляя не только неблагодарность, что, впрочем, его не удивляло, но также решимость и злобу, которых он никак не мог понять. В тот самый момент он пытался пробраться в свою резиденцию и видел тысячи и тысячи людей, которые с песнями и криками шли, держась за руки. И пусть они были совершенно не способны на организацию и какие-то согласованные действия, против них все же пришлось бросить Силы безопасности, предоставив некоторым подразделениям пехоты и авиации в одиночку противостоять восставшим полицейским и танковым частям.

Резиденция была построена на склоне горы, на высоте трехсот метров над жилыми кварталами, окна в комнатах с кондиционерами были закрыты, и тем не менее сквозь пулеметный стрекот явственно доносился рокот, то нараставший, то затихавший, как разбушевавшееся море: то был глас народа. До сих пор Альмайю слышал его только в виде ликований и радостных возгласов во время салютов и праздничных фейерверков, среди веселого грохота петард, зажигательной музыки и свиста красных, зеленых и желтых ракет – цветов революции. Видать, слишком мягок он был с этими собаками; он всегда знал, что они жестоки, неблагодарны и не прощают малейшей слабости, так что нельзя сказать, что он их недооценивал. Просто он всегда верил в свою популярность. Они столетиями поклонялись кровавым, безжалостным богам, и он считал себя вне опасности, поскольку воплощал их древнейшую мечту – мечту о великом и ужасном правителе. Теперь же, когда его нынешние трудности наглядно показали, что никакие сверхъестественные силы не оберегают его, они, конечно, почувствовали себя преданными, и это их разозлило. В веселом, кровожадном исступлении они требовали с него платы за свои несбывшиеся мечты. Ведь он – свой, такой же, как они. А такое не прощается.

И вот теперь он с мрачным удовлетворением слушал этот рокот: любовь приносит несчастье, он всегда это говорил.

– Предоставьте это мне, Отто, – сказал он. – Я знаю, что делаю.

– Не понимаю, как расстрел американских граждан может помочь вам выпутаться, – сказал Радецки.

– Окей, окей, – сказал Альмайю, подняв обе руки, словно успокаивая непослушного ребенка. – Сейчас я все вам объясню. Поймите главное: это не я расстреливаю ни в чем не повинных американцев. Это... взбунтовавшаяся армия и чернь, подстрекаемые кастрицистами провокаторами, плюс «новое» правительство Санта-Крус. Они захватили несколько американских друзей Хосе Альмайю, только что прибывших в страну, и тут же их расстреляли. Вы представляете, какое возмущение это вызовет в Америке? Это же цивилизованная, демократическая страна – Америка. Через двадцать четыре часа они уже пришлют морскую пехоту –

защищать своих подданных... Так было в Сан-Доминго. Теперь понимаете? Вижу, что понимаете, вот и ладно.

У Радечки перехватило дыхание. Несколько секунд он пытался побороть возмущение, стараясь, чтобы лицо его оставалось бесстрастным, пока он ищет – напрасно, он понимал это, поскольку было уже поздно и казнь свершилась не меньше четверти часа назад, – хоть какое-то слабое звено в этом умозаключении, которое он был вынужден счесть безупречным. Он считал, что давно уже изучил характер этого индейца и привык к невероятно извилистым путям, которыми следовал его фантастический ум, сочетавший примитивность с дьявольской хитростью, но до сегодняшнего дня никогда не видел с такой ясностью его почти нереальную нестандартность. Высказанное суждение отличалось железной логикой, но он прекрасно знал, что истинная причина только что свершившегося жертвоприношения была в другом.

– Они будут отрицать это, – сказал он, – и без особого труда смогут доказать, что это сделали вы.

Альмайю покачал головой.

– Вы ошибаетесь, амиго¹³. Прежде всего, свидетелей не будет... Гарсия знает свое дело. Затем, вы правда верите, что им удастся убедить такую цивилизованную страну, как США, в том, что я будто бы отдал приказ расстрелять собственную мать и невесту? Шутите? Разве кто-то может расстрелять старушку-мать? Пусть даже из политических соображений?

Радечки молчал, втиснувшись в кресло, не в силах оторвать глаз от лица этого человека, с которым, казалось, ничего не смогли поделать ни Писарро, ни Кортес, ни конкистадоры, ни пришедшие вслед за ними монахи-иезуиты, говорившие, что индейцев можно убивать и обращаться с ними как с животными, потому что у них нет души, – человека, внешне поразительно похожего на разбитых испанцами каменных богов: Радечки иногда ловил себя на том, что невольно ищет на этом лице сколы и следы молота. Знал он и то, что своей откровенностью Альмайю окончательно связывал его участь со своей судьбой: подобные признания оставляют человеку очень мало шансов пережить того, кто ему доверился. И несколько визитов в шведское посольство, которые он тайком нанес недавно, тут мало помогут. Ему ничего не оставалось, кроме как сидеть под прицелом этого пристального взгляда, где малейший намек на подозрение означал бы немедленную смерть, и стараться как можно больше походить на своего персонажа: офицера-десантника, сподвижника Скорцени, одного из последних телохранителей Гитлера, ставшего авантюристом без родины, который служит тому, кто больше платит, военного советника диктатора и его собутыльника.

– А что потом? – наконец выдал он из себя. – Если предположить, что это «потом» будет?

– Мне надо только позвонить в американское посольство, – сказал Альмайю. – Как сделал Санчес в Сан-Доминго, когда почувствовал, что пахнет жареным... Через двадцать четыре часа там уже были американцы. То же самое будет и здесь. Они разбомбят мятежников, эти щенки получают хороший урок, которого не забудут до конца жизни... А я вернусь. Теперь понятно?

– Не уверен, что все произойдет именно так, – сказал Радечки. – Где вы собираетесь дожидаться американцев?

– На полуострове. Там генерал Рамоно, а с ним три тысячи человек. Он на моей стороне. Вы только что его слышали. Вы сами с ним разговаривали. В его верности можно не сомневаться, потому что ему нечего ждать от других: он и так уже богат.

– А как вы думаете попасть на полуостров?

– Я пока еще могу рассчитывать на авиацию. По крайней мере несколько ближайших часов. Я доберусь туда без труда. А американцев я расстреливаю, чтобы быть абсолютно уве-

¹³ Исп. amigo – друг.

ренным в поддержке Штатов, когда я вернусь. Соединенные Штаты – это не шутка. Если вы видите какой-то сбой в моих рассуждениях, самое время сказать об этом.

Обезьянка вскочила Радецки на колени и стала требовать ласки. Радецки терпеть не мог эту грязную тварь с ее похабным красным задом и бесстыжими ужимками. Высокий ранг обезьяноподобных богов, которым поклонялись в храмах Индии, несомненно был связан с тем, что в людском представлении образ властителя над человеческими судьбами всегда отдает абсурдом. Попугаи ара снова пронзительно закричали; на фоне белой стены их желто-сине-красное оперение, розовые хохолки и глаза-пуговицы также вызывали ассоциацию с царством какого-то варварского, приплясывающего идола. Радецки никак не мог смириться с тем, что приплясывания и прыжки какого-то развеселого невидимого божества оборачиваются в реальной жизни трупами, лежавшими в данный момент где-то на обочине. Это недопустимо. Неужели нет возможности предотвратить это невероятное безумие или, вернее, эту безупречную логику? Не может того быть! Он попытался протянуть время.

– Послушайте меня, Хосе, хотя бы на этот раз, – сказал он. – Положение еще не безнадежно. Подождите, посмотрите, как будут разворачиваться уличные бои. Это чистое безумие – расстреливать гринго. Это ваш последний козырь, поберегите его напоследок. Схватка идет не на жизнь, а на смерть, это даже отсюда слышно. И пехота, и авиация еще на вашей стороне; вы еще очень даже можете победить.

– Конечно, победа будет за мной, – сказал Альмайо. – Я сделал для этого все, что было нужно. Я выиграю. После чего перед журналистами со всего мира буду судить этих собак за убийство американских граждан, моей матери и моей невесты, чтобы все узнали, на что способны эти грязные твари. Будьте уверены, они сознаются в своем преступлении... Можете не сомневаться.

Радецки потерял дар речи. У него кончились доводы. Последние еще оставшиеся аргументы были нравственного порядка, и их лучше было не упоминать. Такие слова как «чудовищный», «дьявольский», «циничный» были абсолютно бесполезны: они лишь утвердили бы Хосе в его решении, затронув его самую темную, самую сокровенную мечту, побуждавшую его теперь вернуться к человеческим жертвам, чтобы задобрить всемогущие силы, властвующие над людскими судьбами. «Моя удача всегда со мной», – это было одно из любимых выражений Хосе наряду с «это на счастье», а смесь индейских верований с иезуитским воспитанием придала его вере несокрушимую твердость. Главное, не показывать своего возмущения и не протестовать слишком явно. Не надо выдавать себя: еще не время. Может, ему еще удастся проскользнуть в шведское посольство. Он уже один раз попытался это сделать днем, но повстанцы узнали «друга этой собаки», как они говорили, и он остался в живых только благодаря открытой двери дома, всех обитателей которого незадолго до этого перестреляли. Он пробрался по заваленному трупами дому и по крышам ушел обратно в горы.

– А я по-прежнему думаю, что это преждевременно, – сказал он. – Вы слишком рано выкладываете ваш козырь. Подождите. Вы всегда успеете их казнить.

Альмайо посмотрел на него почти с огорчением.

– Вы слышали, что я уже отдал приказ? Вы знаете, что бывает, когда я что-то приказываю?

– Вы можете позвонить и отменить его, – сказал Радецки.

Хосе покачал головой.

– Нет, дружище. Не так я себе представляю Хосе Альмайо, – важно сказал он. – И народ не так представляет себе Хосе Альмайо. Я отдал приказ. И теперь все они – мертвецы. Надо, значит, надо. Нельзя так поступать с ни в чем не повинными американскими гражданами, и виновные в этом преступлении очень скоро поймут это. Международное право никто не отменял... Доверься папочке и возьми еще сигару, окей?

Обезьянка завизжала, приплясывая, и Отто Радецки почувствовал, как холодные волосатые лапки ищут блох у него в волосах. У него перехватило и запершило горло, он глотнул воздуха и закрыл глаза.

Глава VII

За несколько месяцев до того Радецки шел через сады монастыря Сан-Мигель в нескольких километрах от столицы. От аромата роз было трудно дышать, а воздух становился плотным, почти осязаемым. Кусты желтых, красных и белых роз громоздились вокруг мраморных фонтанов, статуй святых и вдоль стен; растения, названий которых он не знал, росли в трещинах между камней, вились вокруг колонн, свешивали свои пурпурные и лиловые шупальца среди кактусов и агав, где, словно мигающие огоньки, сверкали прозрачными крылышками колибри. Он испросил аудиенцию у отца настоятеля и сразу получил соответствующее разрешение. В монастыре, очевидно, знали, кто такой этот посетитель с лицом германского рейтара... или по крайней мере думали, что знали. Все началось с одного замечания, высказанного Альмайо невзначай во время одной из их попоек. Радецки тогда выпил лишнего и, возможно, задавал слишком много вопросов. Он чувствовал, что ему недостает какого-то пустяка, что вот-вот и откроется вся правда об Альмайо, еще немного – и он ухватит ее. Хосе Альмайо мрачно смотрел на него через стол, очевидно, колеблясь между недоверием и дружеским расположением. Он наклонился к нему, состроив обиженную мину, в которой неожиданным и странным образом проступило что-то детское: может быть, просто мечта, промелькнувшая на этом жестком мужском лице, придала ему на мгновение чуточку наивности.

– Я добился успеха, потому что понял, вот и всё...

Он немного помедлил.

– Если вам действительно хочется узнать, как это получилось, как я стал великим человеком, пойдите в монастырь Сан-Мигель и спросите отца Себастьяна. Может, он вам расскажет. А может, и нет.

Он ждал во внутреннем дворике, останавливаясь иногда между сводами, чтобы взглянуть на выжженную солнцем равнину, где, словно окаменевшие небесные часовые, стояли редкие кипарисы. Индейцы называли их «божьими пальцами», хотя маловероятно, чтобы Господь Бог вот так указывал пальцем на Себя Самого. Радецки пришел сюда за новыми данными, чтобы попытаться лучше понять душу человека, явившегося, казалось, из какого-то легендарного прошлого и воплощавшего собой, возможно лучше любого другого «избранника судьбы» индейской Америки, жестокую и причудливую историю земли, ту самую историю, из которой его хотели вычеркнуть эти отчаянные студенты. Грубая сила всегда привлекала его, оказывала на него какое-то тайное действие, он пытался избавиться от этого притяжения, исписывая тайком страницу за страницей, каждая из которых, если бы ее обнаружили, могла стоить ему жизни. Кто-то когда-то сказал, что преступление – это «левая рука идеализма»; он же считал, что таким образом человек мстит недостижимому абсолюту; это – крушение мечты о власти, ее деградация до уровня сведения человеком счетов со своими былыми устремлениями; злопамятное «ах так?!» со стороны тех, кто восстает против силы тем более ужасной, что ее не существует вовсе, или в любом случае, ее нельзя ни тронуть, ни наказать, ни умолить. Это месть себе подобным за то, кто ты есть, крик бешенства, издаваемый неким продуктом, одновременно живым, наделенным сознанием и скоропортящимся. Есть в преступлении этакий нигилизм, связанный с крушением метафизического желания, и даже бандитам, менее всего склонным к размышлениям, чтобы спокойно всадить человеку пулю в затылок, чтобы шутя перерезать ему горло, требуется более или менее осознанная убежденность в том, что человек – это ничто, даже хуже, чем ничто, что его просто нет и никогда не было. Радецки знал кое-кого из крупных авантюристов своего времени, и его всегда забавляла их глубокая вера в силу зла и насилия. Нужно обладать немалой долей наивности, чтобы вообразить, будто массовые убийства, жестокость и «власть» могут привести к чему бы то ни было. В сущности, все они были верующими людьми, начисто лишенными скептицизма. Эти люди, за чьи головы назна-

чались цены, не умели оценить по достоинству фразу, которую он слишком часто им говорил: «Все, что вы можете сделать на этом свете, это стать добропорядочными отцами семейства: сколько бы вы ни строили из себя всадников Апокалипсиса, вы останетесь только людьми». Он подрывал весь их мир, их веру, их волю, желание восторжествовать надо всеми законами. «Вы ни во что не верите», – сказал ему как-то один из них, Руис Деледа, знаменитый колумбийский палач, которого после трех лет кровавых боев в горах, унесших более трехсот тысяч жизней, прикончили в конце концов настоящие революционеры из Рио-Чикито.

Послышались шаги, и в патио появился отец настоятель. Он шел под сводами, где свет, растения и попорченная непогодой старинная живопись напоминали о молитвенных прогулках, совершавшихся на протяжении нескольких веков. Немец или голландец, подумал Радецки, разглядывавший настоятеля, пока они, беседуя об истории монастыря, прохаживались по выбеленным известью коридорам, где не отличимые одно от другого лица святых на дурных портретах, развешанных по стенам, сливались в одну сплошную коричневую массу. Отец настоятель открыл дверь в огромную белую залу со старинным испанским письменным столом и гигантским распятием на стене, которое только подчеркивало наготу и пустоту помещения. Лишь раскрытое настежь окно нарушало эту строгость тропической зелены сада; возможно, причиной тому было журчание невидимого фонтана, слышавшееся среди розариев, но покой и тишина этих мест ассоциировались скорее с мечетью, чем с Христовой обителью.

Отец настоятель сидел теперь за столом. У него было пожелтевшее лицо, светло-голубые глаза и рыжая бородка, как на полотнах Рембрандта. Он был лыс, только редкие, совершенно седые волоски окаймляли контур былой тонзуры. Морщины на его лице были так глубоко и резко очерчены, что никакая смена выражения не могла заставить их двигаться. Было ему лет девяносто.

Да, ответил он, и Радецки немедленно почувствовал его настороженность, да, он знал генерала Альмайю лет двадцать тому назад, когда тот был пятнадцатилетним мальчиком. Он был индейцем из племени кухон, которое обитает в тропических долинах, это очень гордый, неукротимый народ, один из древнейших на американском континенте: этнологи считают, что индейцы кухон произошли от ацтеков или даже от майя, но похоже, что их происхождение еще древнее и что когда-то они представляли довольно развитую цивилизацию, в той мере, в какой можно вообще говорить о цивилизации в отношении язычников, совершавших человеческие жертвоприношения. Во всяком случае, археологи были поражены обилием все новых и новых божеств, которых они откапывали из года в год, а ведь в данном случае речь шла только о периоде упадка, поскольку такое множество идолов характерно именно для декаданса. Читать и писать его научил старый священник из его деревни, отец Хризостом, он же рекомендовал его монахам-иезуитам из монастыря Сан-Мигель: ребенок отличался живым умом, что было удивительно при характерном для его племени хроническом недоедании, которое почти всегда сопровождается умственной отсталостью; мальчик обладал исключительным желанием учиться и явными способностями и был к тому же очень любознателен. Отец Хризостом думал, что, возможно, когда-нибудь он пополнит ряды духовенства. Орден оплатил ему дорогу до столицы и дал приют. Но очень скоро стало ясно, что у этого молодого индейца сложный и противоречивый характер: возможно, это объяснялось несколькими каплями испанской крови, заставлявшими его острее, чем соплеменники, воспринимать убожество и нищету, в которых жило его племя. Например, он казался глубоко верующим, и в то же время, непонятно почему, он раздражался и впадал в ужасный гнев, когда кто-нибудь из Святых Отцов напоминал ему, что Господь – владыка для всех нас и все люди – Его дети. Словно дикий кот, набрасывался он на своих товарищей всякий раз, когда кто-то из них осмеливался упомянуть при нем простую и очевидную истину, что Господь видит все, что происходит в этом мире: это невинное утверждение воспринималось им как клевета на Творца. Достаточно было сказать при нем, что Бог все знает и все видит, чтобы тут же получить чернильницей по физиономии. Объяснять

свои поступки он отказывался, но похоже, неким странным и забавным образом действовал так из уважения к Господу. Учителя сурово его бранили, но ничего не могли поделать. Он был страшно упрям, имел свое, вполне определенное мнение по многим вопросам, и каждый раз, когда отец настоятель вызывал его к себе, чтобы сделать ему внушение, спокойно стоял перед ним, глядя ему прямо в глаза, с ничего не выражающим лицом, и молчал: не так-то просто вытянуть слово из индейца племени кухон. Единственный раз, после особенно вопиющего случая, когда из-за него один из его товарищей чуть не лишился глаза, он сообразовал объяснить, если только это можно назвать объяснением.

– Бог добрый, – сказал он, – а мир – злой. Правительство, политики, солдаты, богачи, землевладельцы, все они... *fientas*¹⁴. И Бог не имеет к ним никакого отношения. У них есть свой хозяин, есть кто-то другой, кто ими управляет. Бог – в раю, и только там. Земля Ему не принадлежит.

Не надо забывать, конечно, что индейцам, там, в долинах, никогда не жилось легко: даже если не вспоминать о многовековом сопротивлении испанским завоевателям и, как следствие, массовом их истреблении, ни одно правительство никогда и ничего не сделало для облегчения их жизни. Но в целом они научились смирению, а религия дала им утешение и надежду на лучшее. Тем не менее этот юноша был как-то особенно озлоблен. Его наставники делали для него все, что могли: тогда еще было возможно спасти его. Да, они сделали все, что было можно. Но, к сожалению, вскоре у него появились опасные знакомства...

Видно было, что иезуиту непросто говорить на эти темы, и Радецки с трудом подавил улыбку при виде столь очевидной и вполне земной осторожности, внезапно проявленной отцом настоятелем. В девяносто лет это выглядело довольно трогательно, но, вероятно, дело тут было не столько в личной безопасности, сколько в интересах ордена.

Короче говоря, Хосе вскоре пропал. Похоже, он воспылил настоящей страстью к корриде и скитался по аренам, стремясь постичь это искусство. Он нашел себе что-то вроде покровителя, человека очень богатого и известного в стране, но отличавшегося весьма прискорбными нравами, который способствовал его обучению, оплачивая услуги нескольких лучших тореадоров, дававших ему уроки. Однако такое упорство ни к чему не привело: у мальчика не было никаких природных способностей к бою быков. Время от времени до отца Себастьяна доходили слухи о нем. Он заводил себе новых друзей, третьеразрядных тореадоров, мелких владельцев провинциальных арен, прогоревших импресарио, которых оплачивал его покровитель, – весь этот обычный жалкий сброд, жулье, не упускающее случая нагреть руки на чьей-то мечте. Один-два раза он приезжал повидаться с отцом Себастьяном, и тот пытался предостеречь его от этих знакомых, от всех окружавших его прихлебателей и дурных советчиков, но он был молод и честолюбив, кроме того, он был очень хорош собой, от чего не было никакого проку, а может, наоборот, в некоторых вещах проку от этого было даже слишком много.

Отец настоятель снова опустил глаза не только с явным смущением, но и с глубокой печалью, и эта печаль, а также сожаление, которое он испытывал, рассказывая о своем юном подопечном былых времен, были сильнее желания соблюсти дипломатию и осторожность.

¹⁴ Дерьмо (исп.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.